



НИКОЛАЙ
БУЛГАКОВ

Я
иду
гулять

Издательство «Молодая гвардия» выпускает серию «Компас» для тех, кто вступает в жизнь, кому от 14 до 17 лет. Книги серии вы узнаете по графическому знаку.

Ваши отзывы и пожелания присылайте нам по адресу: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21, издательство «Молодая гвардия», серия «Компас».





Н. БУЛГАКОВ

**Я
иду
гулять**

Повесть и рассказы

МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1976

**P2
Б90**

Художник С. ТЮНИН

Б $\frac{70803-149}{078[02]-76}$ 228-76

© Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, написана молодым прозаиком. Ему 25 лет. А печатается в газетах и журналах он уже десять лет. Он был участником последнего, VI Всесоюзного совещания молодых писателей.

Есть мнение, что ранний восход вреден для литературы, что раннее признание в какой-то степени сбивает молодого писателя с толку.

На примере Николая Булгакова мы видим, что в писательском деле важно только одно: хорошо ли автор пишет?

Николай Булгаков пишет хорошо, это видно сразу — у него легкая и чистая фраза, вроде бы никаких особенных средств, но у читателя как-то само собой возникает чувство светлой радости, ощущение доброты. Ибо герой маленькой повести «Я иду гулять» Коля существует не один — с ним везде и всюду его двойник, выросший из детства, из Колиного детства человек; и оттого так сложен спектр каждого переживания Коли-младшего — его радость издалека, с расстояния в пятнадцать лет, дополняется светлой ностальгией Коли-старшего, а над любой бедой героя выросший из детства автор склоняется, как бы стараясь снять ее, облегчить, сказать: ничего, ведь и это счастье.

Самое главное, что чувствуется в книге, — это огромное уважение к маленькому человеку. Это тот чистый случай, когда взрослый хорошо помнит свое детство и все время возвращает-

ся туда, чтобы говорить от имени того мира, где все чувствуется радостно, выпукло, сильно. Словно бы детство — ускоренная съемка, где день длится вечно, где каждая зима и весна полновесны и не мелькают одна за другой, как у взрослых, а стоят долго и внушительно.

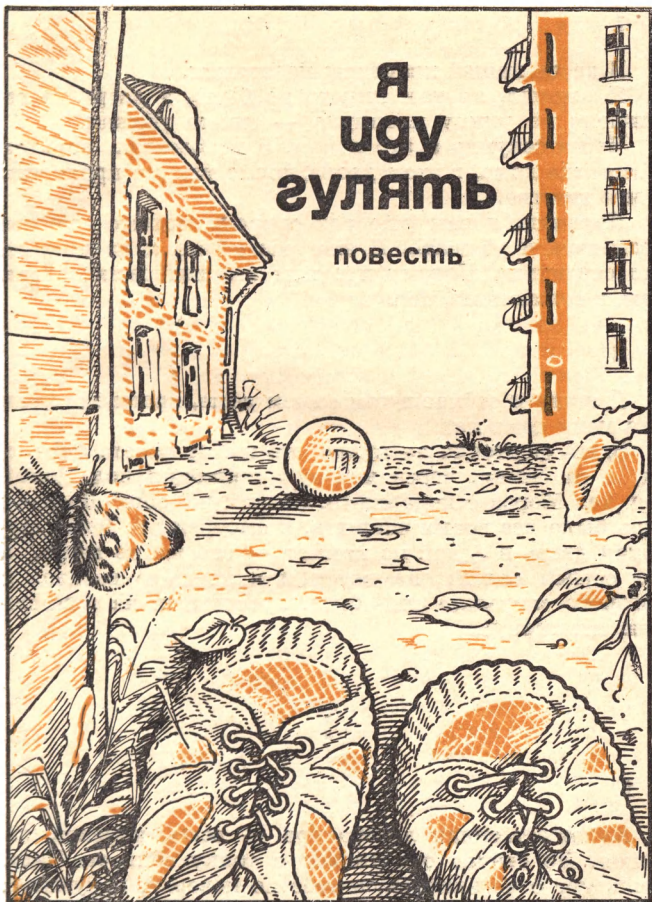
Рассказы Николая Булгакова много проще, они без двойного дна, — здесь автор и герой словно бы сливаются. Рассказы бесхитростно-смешны, это чистый юмор, столь привлекательный для читателя.

Желаю автору и книге успеха.

Ф. Искандер

Я иду гулять

повесть



1

В дверь нашей квартиры позвонили.

Я открыл, но там никого не было, а дверь из вестибюля на улицу хлопнула — кто-то убежал.

Через секунду я это понял. Я вспомнил... Еще бы, в этом же доме, в этом дворе, точно так же проходило и мое детство.

Дурачки, я вам еще раз открою, можете еще раз позвонить и убежать! И еще раз. Ведь я не могу на вас сердиться. Потому что вам это интересно, а мне уже, к сожалению, нет.

2

Я живу и сейчас в том самом доме, кроме которого для меня дома нет.

Здесь форточка на кухне, это же не просто форточка, а та самая, через которую приходил под Новый год Дед Мороз с подарками. (А как же еще? Дверь-то ведь была все время закрыта, я смотрел.) А белая широкая дверь в одной из комнат — это же не дверь, а тот самый «слон», на котором я когда-то катался и которого «кормил» спичками, просовывая их в замочную скважину!..

I

1

Художественная литература — вещь, конечно, хорошая. Но сейчас она только с толку сбивает. Напишешь тут о чем-нибудь, а тебе не поверят, подумают: ага, художественная литература. Все придумал.

Но ведь и у писателя, выдумщика, однажды может случиться так, что самая для него неожиданная фантазия — это появившееся вдруг воспоминание о том, как каждый день было видно то, что сегодня каждый день не видно...

2

Смотрю на свой дом — какой же он странный... Теперь это ясно: в целой Москве нет ни одного такого же — я не увидел. Он старый, двухэтажный, с подвалом и квадратный, вернее, кубический; внутри широкий вестибюль с почти двухэтажным окном, в вестибюль выходят окна из кухонь. Зачем понадобилось делать в маленьком доме такой огромный вестибюль? Ставить на зиму трактор? Не могу я знать.

Но главное — такого второго дома нет.

И вот он — такой! — был для нас в детстве самым обыкновенным!..

3

Мы жили в старом московском дворе. Я — в среднем флигеле, а мой закадычный друг, тоже Коля, — в заднем. (А мы-то этого, то есть того, что нас зовут одинаково, и не замечали... Это же он был Коля, а я был Я. И наоборот. Нам просто некогда было это заметить. Мы б е г а л и, как говорили соседки, доставшиеся нам от прошлого, то есть гу л я л и.)

Теперь «московский двор» — это неживое понятие. То же самое, что «плавленный сыр». Ну сыр, ну и что? А раньше это было особое дело: *московский двор*.

Наверное, мы с Колей из последнего поколения, выросшего в таких московских дворах. Наше детство успело пройти как раз перед тем, как снесли сарай, сделали прорабскую в переднем флигеле, как Коля полу-

чил новую квартиру, многие другие — тоже, и двор перестал быть двором со своей единой жизнью, а стал просто местом между домами. С асфальтированной дорожкой.

А раньше это был двор — что-то бесконечное, многомерное.

В деревянном переднем флигеле существовало, пока мы были маленькими, печное отопление, и поэтому у всех, кто в нем жил, с краю двора имелись сараи для дров. Осенью то и дело машина кому-нибудь привозила дрова. А поскольку оставалось место, там были еще картошка, капуста, старинные журналы, деньги под полом и еще множество никому не известных вещей. (Подземный ход из погреба, например!) Нас от сараев гоняли. Но, наконец, в переднем флигеле поставили газовые колонки, и сараи опустели. Мы стали в них играть, лазить по крышам, прыгать с них, раскачиваться, как обезьяны, на повешенном там бесконечном шланге и наслаждаться.

Потом во двор привезли снеготаялку. Привезли и прислонили стоймя к сараям. Она была нам очень нужна. За ней, огромной, мы прятались. А однажды она понадобилась и взрослым. Они ее запустили, чтобы растаивать снег. Это было великое мероприятие. Из сарая вытащили шланг и растянули по всему двору. Какое-то пламя бушевало внутри снеготаялки, в которую загружали снег. Вокруг собрались все дворники. И все вообще собрались вокруг. Снег таял, послушный гению человеческого разума, и из него получалась вода! Да и время было такое: оттепель...

Наш двор был до неба! В заднем флигеле, на втором этаже, жил дядя Коля, голубятник, туда вела лестница, сделанная из тонкого железа. Когда кто-нибудь по ней поднимался, она громыкала. Это сделали когда-то, чтобы слышать ночью жуликов. (Если прислушаться, как кто ходит, то можно было, наверное, налов-

читься с легкостью отличать жуликов по походке.) И вот несколько раз за день дядя Коля вылезал в свое специальное слуховое окно на крыше. (Эх, так мы и не слазили туда, не посмотрели, что там было, как было оборудовано! Но уж слишком это была его обитель, он мог накричать, было страшно, конечно.) Он вылезал, брал длинный шест с тряпкой на конце и гонял своих голубей. Или просто свистел на них. А они кружили над двором, высоко.

Наш двор был до подземли! Когда мы были маленькими, подвал нашего флигеля был тесно заселен. Я помню там комнаты со странной скошенной дверью — они углом выходили в коридор, чтобы больше семей поместилось. Потом все разъехались, получили квартиры. Мне запомнился сгорбившийся старичок с зеленой лысиной, который жил в подвале и постоянно был сердит, прежде всего, конечно, на нас за то, что мы бегаем. Все, кто жил в подвале, вообще были сердиты на нас больше всех. Мы бегали, закрывали свет (у них и так днем иногда горели лампочки), могли разбить стекло мячом. И мы больше всего боялись, как бы мячик не попал в яму, где подвальное окно. (Ну, как боялись?.. Мы об этом, конечно, не думали, просто в самую ту минуту, когда на нас кричали, вспоминали и начинали бояться.) О, несчастному приходилось тогда спрыгивать за мячом почти прямо к ним и выслушивать, как из-за стекла кричали, в любую минуту могли вообще от злости выскочить, если долго прово-
зишься.

Старичок из подвала давно умер. Но я помню его руки: большой палец не прямой, а галочкой, горбатый. Вот мы играем, а он почему-то не ругается, попросил то, с чем мы играем, и рассматривает на скамеечке... И не страшный. Наверное, был хороший день.

В подвале была котельная. Приходил истопник Захарыч, очень худой, в огромных валенках, которые

с него сваливались. И у него была жена, толстая, он ее очень складно называл для меня «тетка Таня». Захарыч был добрый и разрешал спускаться к нему и хоть целый день смотреть. Огонь и красные угли! И никто не знает, что ты здесь...

Последний раз я помню подвал, когда его переоборудовали под какую-то контору «Группа ПОР и архив». Стекольщика, который там работал, мы попросили вставить стекла и у нас. Он сделал. Я вместе с ним спустился в подвал. Там уже не жили. На столе, покрытом газетой, стояла водка и лежал копченый лещ. Стекольщику было скучно пить водку одному, и он позвал меня, мальчишку. А мне было страшно интересно. Здесь все не так. Мы сидим в подвале, откуда во двор я никогда не смотрел. Наверху земля. И мама не знает. Я то и дело озирался по сторонам, смотрел на ноги проходящих. Было здорово.

Теперь в подвале просто склад. Мебель.

Коля жил в огромной коммунальной квартире. И в этой квартире (номер двадцать семь в нашем дворе) жили абсолютно все. В частности, в ней жила очень толстая Сурнучова, престарелая дочь того Сурнучова, которому до революции принадлежали все три наших флигеля — дом восемь в Тихвинском переулке. Она у меня зачитала том Зощенко. Вдруг однажды она попросила меня что-нибудь почитать. Мне показалось, что Сурнучовой (она любила щелкать семечки) должно будет это по теме понравиться, и я дал ей Зощенко. Наверное, он ей очень сильно понравился, она его зачитала. А до этой ее просьбы мне казалось, что она ко мне плохо относится — как всякая старая тетя к мальчишке, который «ходит, топчет пол».

Каждый день я кричал с улицы на второй этаж в Колькино окошко: «Коля!» — и он высовывался из-за стоящих между рамами бутылок молока (еще не было холодильников).

Тогда из соседнего окна на меня кричал Нинкин отец, чтобы я не кричал. Но Коля уже делал мне дугу рукой, чтобы я шел, и я бежал к нему.

Самое неприятное — нужно было пройти через огромную кухню всей этой квартиры, где я, долго вытирая ноги, сделав тихое лицо, говорил никому: «Здравствуйте...» и ко мне бессодержательно поворачивались обязательно находившиеся здесь как минимум человек пять, поднимавшие головы над конфорками бесконечных газовых плит или сидевшие на бесконечных табуретках этой кухни.

Несколько лучше было идти уже по коридору, в котором стояли корыта и санки у дверей. Но жил еще в этой квартире постоянно сердитый милиционер с широким лицом (который как-то раз потом продал моим отцу с матерью елку к Новому году, и я уже тоже, как ни странно, мог его не особенно бояться). Он всегда ходил в форме. Но даже когда снимал, этого все равно как-то не чувствовалось. Его комната была последняя в коридоре. А напротив нее была Колькина...

Я входил в нее наконец, и вот тут уже была сама приветливость. Здесь был особенный запах. И мне улыбались его родители: Колькин отец и Колькина мать. Я помню их улыбки. Они улыбались мне очень хорошо. Они были глухонемые и, не говоря ничего, улыбались. Это были очень хорошие, необыкновенно добрые, на редкость добрые люди. Они, наверно, никогда никому не делали никакого зла. Старались делать нам с Колей что-то приятное. Отец шутил, как-то играл с нами. (И помню, конечно, как ругал Колю за что-то сердито. Нельзя не помнить: в детстве на это всегда обращаешь внимание, весь затихаешь и грустнееешь — когда взрослые сердятся.)

Они были обыкновенные люди, приходили с работы, отец читал «Известия», мать что-то готовила на кухне.

Я научился разговаривать с родителями Коли — шепотом, ясно делая губами каждое слово. И мне это уже не казалось странным. Мне было с ними легче разговаривать, чем с кем-нибудь еще в квартире. Я был как будто брат Коли: по крайней мере, его родителей совершенно не удивляло, что я целыми днями у них торчу. И я пропадал у Коли бесконечно.

А тут еще однажды... Его родители привезли коробку: телевизор «Рекорд». Вот это да! У нас дома его еще не было. А они купили. Понятно: ведь как они могли еще развлекаться? Они смотрели без звука и понимали по губам, что говорят.

...Скоро будет детская передача, мы с Колей мчимся по выщербленной лестнице с железными (без деревяшек уже) перилами как угорелые. Если Коля впереди, он кричит от радости: «Кто вперед, тот получит пулемет!» А если я — то: «Кто вперед, того кошка обдерет!» И наоборот. (Он притащил, наверно, эти слова из детского сада.)

Телевизор, конечно, имел значение. Но Коля вообще был хороший малый. Он был мне друг. А я — ему. Это было для нас очень важно — мы даже следили за собой и друг за другом в этом плане. И если я, например, провалился бы в дыру крыши старого гаража (!!!) — а это было вполне вероятным делом, тем более зимой: мы там лазили и съезжали с нее в сугроб, — то в этом случае Коля не убежал бы, конечно. Потому что это ведь было очень, очень страшно, неимоверно страшно: гараж заперт, вылезти невозможно, придется звать злых хозяев с ключом! — а это ужас, целый скандал, пожалуются, сами надерут уши — короче, нет ничего страшнее.

Все другие мои друзья, которые появились потом (мы пошли с Колей учиться в разные классы), могли не убежать, а могли бы и убежать.

Мы облазили все на свете. Даже чердаки. Они во всех трех флигелях были совершенно разные. Это было самое захватывающее мероприятие в жизни — лезть на чердак (темный, особо пахнущий, безлюдный, загадочный...). На чердаке было пыльно, но совершенно великолепно, все видно сверху, а не снизу, и вся жизнь во дворе — кто-то сидит, кто-то пошел, кто-то банально играет (и нас не видит!) — представлялась уже какой-то другой, как будто в щелку из-под одеяла. То есть интереснее! Я уже не говорю про салют! Когда был салют, мы кричали с чердака, даже с крутой нашей крыши, на которую по этому случаю залезали, рассекречиваясь, не выдержав: «САЛЮ-ЮТ!!!»

Потом мы не дыша, один за другим (ох, каково было последнему!..) спускались с чердака по страшно крутой лесенке, боясь, как бы в этот момент не открылась одна из дверей верхнего этажа, — тогда все!.. Ни назад, ни вперед!.. Стали бы кричать или еще что-нибудь, шапку с головы, например, сорвали — у взрослых был такой приемчик, чтобы не убежал.

Но жить без лазания на чердак было нельзя.

Потрясающим был белый ход в переднем флигеле. Через него никогда не ходили, для этого был черный, со двора. Передние двери, прямо в переулок, открывали, только когда кто-нибудь умер или приехала «неотложка». Но мы туда пробирались. Странно было, что тут, где никому не видно, такие хорошие, обитые черным двери. И на одной из них я вдруг увидел яркую медную табличку с вензелями «Н. И. Мамонтов».

Дома я слышал эту фамилию. Оказалось, это здесь когда-то жил брат моей прабабушки!..

Нам не разрешалось «ходить за ворота». В каждом московском дворе были раньше ворота — они запирались на ночь, и дворник (мне рассказывала наша со-

седка Полинка, как я ее всегда за глаза называл) открывал только своим, а всяким там жуликам не открывал (чтобы они что-нибудь не украли). Так что выражение «за ворота» было, а ворот не было, от них остался только столб, возле которого была каменная тумба, чтобы сани зимой, разъезжаясь во все стороны, не корябали дом. Тумба эта осталась от прошлого. На нее кто-нибудь из нас время от времени просто вскакивал.

В заднем флигеле, в той же квартире, где и дядя Коля, жил Комар — Вовка Комаров, он был года на три старше нас. Когда мне было лет шесть, мы с ним очень дружили. У меня был трехколесный велосипед. Комар иногда со мной ездил, держась за руль и поставив одну ногу на ось, а другой толкаясь. Однажды мы с ним доехали так до Исторического музея, то есть до Красной площади! Ничего себе! Мы оставили наш транспорт при входе, а сами пошли смотреть музей. Я помню, что сначала шли кости и кости... А потом было поинтереснее: сапог Петра и клетка Пугачева. Насмотревшись, мы тем же образом вернулись домой. Уже темнело. Было страшновато. «Коля, тебя мать искала», — сказали мне во дворе. Да-а... Но все обошлось. И я сам, кажется, не сказал матери, куда мы ездили. Она бы запретила, конечно, так делать.

И все-таки не ходить за ворота было нельзя.

В наших двухэтажных домах не было лифтов. И мы ходили напротив, через Тихвинский, в высокий дом девять (в котором родилась моя мать). Это было здорово и страшно, нас могли прогнать. Как только мы попадали в лифт, закрывали дверцы, нас охватывало какое-то безумие — особенно хулигана Сашку (Григу). Он начинал хохотать, нажимать на все кнопки, и у него не хватало терпения дожидаться, пока после нажатия на кнопку все произойдет, он уже нажимал на вторую. Мы на него кричали, хлопали по шапке,

держали за руки и нажимали снова. В общем, в лифте творился ужас. А потом мы неслись с какого-нибудь этажа, уже не соблюдая никакой конспирации и поэтому крича и нажимая на кнопки звонков, чтобы все было еще сильнее и интереснее.

Еще мы курили. Так называлось одно наше очень секретное мероприятие. Сначала нужно было, не волнуясь, попросить в киоске папиросы («Казбек», например), потом полезть на чердак или в какое-нибудь такое же надежное место и там курить. А после чем-нибудь заесть: сухим чаем или листом с дерева, чтобы не пахло. Или ходить по улице и все время вздыхать, чтобы воздухом запах табака выветрило. А потом прийти домой, говорить с родителями, глядя в сторону (никогда не знаешь, долетает до них или нет!), и чувствовать себя противно.

Но ведь и без этого жить было нельзя.

У меня дома на буфете стоял большой самовар. Я на него иногда поглядывал. Ужасно интересный агрегат для нашего времени! Столько всякой возни, краников, труб! И все лишь ради чая.

Конечно, однажды я не удержался и решил растопить дома самовар. Тем более что мы были с другом Игорем, и было смелее. А чем? Углем? Дровами? Дров уже не было нигде. Ходить искать слишком долго. Я решил — газетами. А что может случиться? Мы же посмотрим.

Я набил газет в самовар и зажег. Пошел дым. Много дыму почему-то (а толку, кстати, мало).

— Чего это ты там делаешь? — спросила соседка, у которой было мгновенное чутье на всякие перемещения.

— Ничего, — сказал я и закрыл дверь, ведущую к самовару.

Она захотела войти в комнату, но я встал на пути. Тем самым разжег ее любопытство совершенно.

А дым от газет шел огромный. Повалил в форточку. Скоро в доме это заметили. Когда я увидел в окно, что приближается несколько бабушек с участковым (я уже знал, что «участковый» — это милиционер, все как по писаному!), я выпрыгнул в окошко и убежал к другу Игорю, боясь выглянуть в его окно.

Это было ужасно страшно! Я почти плакал от досады, что все так страшно и неприятно. Как я боялся, что «дело так не оставят»! (Самая противная фраза на свете! Бр-р...) Сообщат в школу, например. А в школе у меня, сидевшего на уроке сложа руки, была незапятнанная репутация отличника, не то что во дворе!

Но ведь дома же стоял на буфете самовар!

5

Когда мы выходили во двор, Шарикова из переднего флигеля, длинная и худая наша скандалистка, кричала, что у нее от нашего мяча болит голова — так мы стучим об ее стенку. И что она приведет участкового. Она нас глубоко ненавидела. В ту же минуту начинала ненавидеть, как только видела.

За забором нашего двора жил злой дядька, который нас не выносил. Как только начиналась весна, зеленел его сад, мы выходили весело с мячом — он зеленел от злости. Мяч иногда, повинуясь законам физики, пролетал через этот забор. Мы кричали: «Авторал!» И «автор» перелезал за мячом. Дядька тут же давал о себе знать. Он либо кричал на нас, либо если не кричал, то копил неимоверную злобу где-то за стеклами своего окна, как змея в террариуме. Он даже измазал этот забор тавотом или еще какой-то липкой зеленой гадостью, столь необходимой нашей промышленности, для того лишь, чтобы мы не лазили через забор за мячом! Но что же мы, оставляли бы мяч там из-за этого? Или не играли бы вовсе, рассчитав, что можем измазаться?!

Чего он хотел-то?! (Так странно это вспоминать! А тогда мысль о нелепости у нас в голове не появлялась, это все была «се ля ви» наша детская: так, мол, наверное, и надо, что ж тут поделаешь... Есть тут такой.)

Тогда, в то время (когда мы бегали во дворе), еще не считалось целесообразным тратить деньги на прачечную («там рвут белье»), стиральных машин тоже ни у кого не было, и все стирали сами, в корыте, а сушили на улице. Так что во дворе часто висело белье. Причем какими-то сложными рядами, как-то крест-накрест. Что бывало в такие моменты, если мы выходили гулять!.. На нас тут же кричали: «Идите на детскую площадку! Нечего тут ходить!»

Нам говорили, что поймают мяч — изрежут его ножом.

6

Наш двор не был оборудован. В нем не было «грибков», качелей, турников, «гигантских шагов», как на детской площадке. Мы качались на том, что предоставляла нам сама жизнь, — например, неожиданно привезенные доски, сброшенные с грузовика так, что одна из них обязательно торчит. На один из четырех высоченных наших тополей, чуть наклонившийся, можно было взбегать, особенно если в кедах. Между гаражом и толстой кирпичной стеной, которой отделялся наш двор от соседнего, — щель, немного засыпанная землей, так что там можно было влезть на крышу гаража или даже подняться на стену поглядеть «за границу» — что делается в соседнем дворе дома шесть (в такой дали!), где идет совершенно другая жизнь. Деревянное крыльцо переднего флигеля, на котором кто-нибудь из нас строгал, забивал, резал, когда что-то такое придумывал и начинал с азартом осуществлять. Возле крыльца — пожарная лестница до самой крыши, на нижней перекладине можно было

переворачиваться, глядя, когда ты кверху ногами, на землю под (то есть над) головой (!)...

Двор был куском всего мира: вся прошлая жизнь — как у нее это выходило — его создавала, и такой он и получался. Мы не знали, куда он уходит и что нас ждет за этим кирпичом или под этой отмеченной каким-то загадочным знаком доской... Во дворе были закоулки, темные места, и каждый раз было неизвестно, что откроется там. В каждом углу двора было зарыто время. И потому нам было интересно и неожиданно: двор был бесконечен, как сама Жизнь. А уж когда мы узнали еще о Шерлоке Холмсе (Коля каждый день стал просить меня рассказать про него, и я, не читавши ни строчки Конан-Дойля, придумывал ему истории на ходу), тут и вовсе нам стал за каждой трещиной чудиться тайник или еще что-нибудь почище.

Целые поколения вырастил наш двор. (Да, именно двор, а не только папы и мамы.) Поколения эти сменялись постепенно (для нас, мальчишек, старшим поколением были уже те, кто хоть года на три старше). И кто-то приходил во двор то с очень гордым тряпочным значком «2-й класс», то в только что повязанном пионерском галстуке, то прикатывал на грузовике, на котором начал работать, а то являлся в военной форме, да еще при «орденах»...

Такие, исторические, появления были самыми заметными во дворе. Мы тоже смотрели, мы завидовали, и нам снилось, как и мы здесь так появляемся, что все ахают.

Двор — это своя страна. Это была замкнутая система, которой полагалось по традиции включать целый набор персонажей. В него, конечно, входили, кроме обычных тружеников, пьяница, жулик, татары, странный одинокий человек, голубятник, ученый (ими была наша семья, про меня говорили: «Вон Колька-ученый

пошел», мои родители были инженеры), скандалистка — иногда не в одном экземпляре (это естественно: такое одиночество для нее губительно). И, конечно, были яркие индивидуальности.

7

У меня в квартире была только одна соседка. Но она была яркая индивидуальность.

Она жила, наверное, дольше всех в нашем дворе. Один раз я ей говорю:

— Во, посмотрите, трещина-то у меня какая на потолке.

Она говорит:

— Да, это бомба упала в соседний дом. Когда же, в революцию... или в войну?.. Или в революцию?

И смотрит вопросительно на меня.

Она родилась в конце прошлого века. Никто, правда, не знает точно, в каком году. Потому что она вроде когда-то прибавила себе два года возраста, чтобы ее взяли на работу. Так и осталось. Ее еще в 1912 году привезли из деревни в Москву, и она последующие бойкие для трамвая годы работала кондуктором, а с 1937 года до пенсии — контролером. Она очень много повидала в трамвае и из трамвая. Один раз — она рассказывала — впрыгивает к ней гражданин:

— Кондуктор! Кондуктор, ничего не знаешь?

— А что?

— Маяковский застрелился...

А потом как-то вбегает один:

— Кондуктор, слышала?

— Что такоича?

— Война!..

Теперь годы были уж не те, все проявлялось вяло, а раньше (мне так говорили) Полинка играла заметную роль во дворе. Она знала все и про всех.

И она могла, если что, потягаться с любой скандалисткой.

Скандал — это было самое главное событие во дворе. Я застал скандалы. Они заключались в том, что две скандалившие выходили на пороги своих квартир и начинали кричать на какую-либо из тем.

У скандала были свои законы. Кричать нужно было не все, а только то, что нужно. Например, как можно громче повторять все угрозы, три раза, чтобы весь двор слышал (а двор слушал), что та угрожает — и конкретно — чем.

И еще моя соседка считалась до войны богатой: у нее с мужем, шофером, были зеркальный шкаф и велосипеды. После они разошлись (он был пьяница), он при мне изредка приходил, но у них ничего не получалось. Однажды в такой приход он сломал ей ребро (сел в тюрьму — тут, через дорогу, в Бутырскую), а она обварила его кипятком.

Мы переехали в эту квартиру из соседней, когда мне не было года. Полинка сделала мне к моей первой годовщине подарок, которым потом всегда очень гордилась, — ночной горшок («самое что ни на есть нужное!»). Я ее обожал, звал даже мамой, меня было невозможно выманить из ее комнаты. Она меня тоже обожала. (Потом, когда я уже стал взрослым и она передавала мне, что «звонили из радива» — которое стояло всегда под салфеткой у нее на комод! — она плакала иногда, потому что я стал таким «большим человеком», а был таким маленьким.) Вообще все тогда было между нами хорошо. Я помню (очень давно), как на Полинку напал ее пришедший муж, а мама заступилась за нее. А отец — за маму, и наше всеобщее дело победило.

Когда мы дружили, бывало очень хорошо. Я учился во вторую смену, она уже не работала, и по утрам мы были одни в квартире. Я прятался и слушал: когда

затопают ее тапочки? А она уже знала, и шла, и говорила как бы про себя, но нарочно громко:

— Куда же девался этот поросенок худой?.. Где же это собачье мясо?..

А я сидел под роялем и балдел от удовольствия, не шелохнувшись.

Когда я приезжал домой после лета, мы с ней соскучивались друг по другу, обнимались, и я целовал ее в улыбающиеся щеки, как в ласковые праздничные пирожки.

И опять были наши будни. Она смахивала последние крошки со своей старенькой клеенки, и делалось уютно, хорошо, и от радости хотелось поерзать на стуле. Потом доставала свои старые особенные карты, снимала резинку и отдавала их мне. Я сдавал, а она ревностно глядела, чтобы я делал все аккуратно, не кошунствовал, и раздражалась, если у меня карта открывалась. Но тут же добрела. Я предлагал ей, как она это делала мне, снять полколоды. Но сама она отвечала:

— С дурака шапку сними!

И мы играли. В «дурака», а особенно «в девятку» (вдвоем!). Я выигрывал, даже дошло до рубля, но она все равно была рада игре.

У нее было самое маленькое образование, какое только может быть. Но она была интересным человеком, ни на кого не похожим, не просто какой-то старушкой, это слово к ней не подходило. («Мне большие люди говорили, полковники, что то, что есть у вас в голове, это совсем неплохо».)

И, приходя из школы и едва успев развязать галстук, я сам собой оказывался в ее комнате... В этой комнате были ее любимые, всегда странные вещи: глиняная обезьяна с подвязанной рукой (очень любимая), собачка на зеркальном шкафу — как бы сбегаящая вниз, фарфоровый охотник с собакой, позолоченные огромные часы с фигурками, не могущие ходить.

И многочисленные картины с обнаженными амурами. Картины эти под стеклом были развешаны так, что, лежа на диване затылком к окну, в них, как в перископ, можно было видеть в окно, кто по двору *пошел*.

Полинка говорила мне: «Полежим культурненько», то есть на диване, положив ноги на стул (по росту мы тогда были одинаковыми, только я в несколько раз тоньше). И она, оторвавшись от картин, рассказывала мне разные истории, которые в избытке происходили в прошлом.

В 1928 году едут они, как всегда, а как сворачивать за Красной площадью к Москве-реке — трамвай набок кувырнулся, и одно колесо над водой повисло. Или, например, рассказывала, как в трамвае человек умер. В давке незаметно, а на конечной люди стали выходить, он и упал.

Она обожала трамваи («транваи»), могла о них сколько угодно говорить. Например, как она сразу отличала жуликов и даже однажды одному красноармейцу, у которого в кармане уже орудовала определенная рука, намекнула про это («Гражданин, это не у вас мелочь упала?»), за что жулики оставили ее без выручки. (Не совсем, правда, потом отдали: вся выручка, три ее зарплаты, вдруг так же таинственно снова оказалась в сумке. Это они просто попугать: мол, ты здесь работаешь — мы тебя не трогаем, и ты нас не трогай.)

У нее было чувство юмора. Она любила разыгрывать. Не абы похохотать, а по-настоящему: посмеяться над человеческим лицемерием, над глупостью. Одна пара из девятой квартиры все время причитала:

— Ах, нет вот у нас ребеночка...

— Так вы возьмите из детского дома, там сколько хочешь отдают, — говорила им Полинка.

— Нет, ну, это как-то не так... Вот если бы кто-нибудь подкинул...

И однажды Полинка действительно принесла после

работы сверток с ребенком, положила его в нашем вестибюле. И наблюдает в щелку (она уморительно мне про все это рассказывала): кто что будет делать?

Открывается одна дверь, вторая... Все ахают и скрываются в своих квартирах — а то еще брать придется, раз нашел! Наконец, открывается Полинкина дверь (наша, стало быть, только давно), и она говорит:

— Ой, ребеночек! Чей же это?..

Берет его на руки.

— Ой, какой хорошенький!..

В ту же секунду распахиваются все двери нашего этажа, и выходят соседи. И начинают обсуждать. Просят показать.

А она не торопится. И говорит той паре из девятой квартиры:

— Вот как вам повезло! Как раз вы хотели, берите!

А они говорят:

— Да ну, он какой-то... слишком маленький... Лучше ты возьми, Полин! У тебя же нет детей!

Полинка качает его, любит его, а после говорит:

— Что, не хотите?

И как бросит его со всей силы! Тут ахнули все и еще раз ахнули, когда из свертка полетела солома...

Она была внутри себя добрым, очень добрым человеком. Ее волновали другие люди, вернее, их горести — она плакала от них. Когда приходил наш разведенный родственник, она спрашивала в середине разговора:

— А как ваши душевные дела?..

Но не вообще она была доброй — в любое время и ко всякому ближнему. Кое-что наложилось на ее доброту. И в какой-нибудь иной момент могли показаться некие приобретенные ею рефлексy. В нее, например, как в компьютер, была заложена программа «Жизнь соседей в коммунальной квартире». Когда возникал какой-либо вопрос из этой замечательной области, у нее

с легкостью и неотвратимостью включалась эта программа, по которой она тут же и мыслила. За коридорной дверью, например, она специально держала деревянный ящик, набитый какими-то рваными калошами. Дверь на кухню поэтому открывалась не до конца, ей же самой больше всех мешала ходить, но убедить ее выбросить ящик или даже на сантиметр подвинуть было невозможно. Тут вообще доводы были ни при чем. Раз у нас в коридоре что-то стоит, значит, и у нее должно быть, а зачем — это вообще не имеет значения.

Когда у нее включались эти рефлексy, все остальное уже не действовало. С неуловимой глазом хитростью она добилась того, чтобы наш телефон вынесли в коридор. (Ну да, она же просто хочет, чтобы ей было удобней, почему нет?) Ну зачем ей нужна была эта хитрость? Этот дурацкий престиж, плевые выгоды, только пожиравшие нашу доброту! Откуда взялись эти рефлексy? Ведь никому из нас, людей, они не были нужны. Может, это в ней говорила «мудрость коммуналки», в которой без такой тупой «законности» было не прожить?..

Но компьютер так же заметно, как бы даже слышно, щелкал, выключался, и мы опять дружили. И опять без нее было немислимо. И я снова бесконечно сидел в ее комнате с запахом не как у нас... В углу этой комнаты висел «боженька». Она была верующей. Но нельзя сказать, что она исповедовала христианство. Она считала себя верующей прежде всего, наверно, потому, что все эти вещи: церковь, пасха, куличи — были для нее далекими сладкими воспоминаниями. Она плакала, когда рассказывала, как у них в Истре когда-то водили на праздник хороводы, ломали вербу... От всего этого невозможно было отречься. Это была ее жизнь, воспоминания из ее детства. И вещи святые уже поэтому.

Я любил эту землю — землю нашего двора.

Мы ее хорошо знали. Вся наша жизнь проходила на ней. Она была исчерчена нами и истыкана нашими напильниками (когда играли в «города», «чира — полмира!!!»). Мы прижимались к ней даже губами (когда тянули с нее спички, что полагалось при игре в «ножички»). На ней еще не было асфальта, она была очень доброй (даже если споткнешься). Вот ползешь в пальтишке под листьями где-нибудь в саду, прямо по земле, прижимаясь к ней, и не думаешь, конечно, ни про какую грязь, потому что в этот миг одно: прятки!!!

И еще мы знали, что железяка, чуть выпирающая из земли в середине двора, — это от щели, которая была под двором в войну.

Вдруг выглядываешь в окно: двор совсем другой, земли нет — он белый! Во дворе — зима. Снег — чистый, можно лизнуть. И огромные нежные валы по бокам дорожек, расчищенных к флигелям дворником тетей Соней. Снег — это совсем другая жизнь.

Вечер без времени, без памяти, жизнь — вся сейчас! Крепость, снежки, снежные бабы, что угодно.

Мягкий, ласковый снег. Валенки. Мокрые варежки. Яркое, чистое, темно-синее небо со звездами!

Теплые окна горят.

Вкусный воздух.

...А потом — весна! Радостно, что снова появилась земля, мы по ней уже соскучились...

Воздух нашего двора состоял не просто из кислорода, азота, водорода, инертных газов и углерода. В нем было что-то еще сверх полагавшихся 100 процентов. И это «еще» было очень питательным для нашего организма. На нем мы росли, розовея и радуясь. В нем бы-

ла живая жизнь. Мы ее слышали не слыша, именно вдыхали.

Двор был живой. Он звучал. Звуки двора вошли в меня. (Еще с самых изначальных пор, когда я каждый день спал во дворе на раскладушке под крик бегущих старших мальчишек.) Теперь я вспоминаю эти звуки каждый отдельно, а на самом деле они были все вместе, незамечаемые и неразделяемые, все время с нами.

Звуки двора.

Ночью, когда лег спать, в полной тишине слышны далекие, неимоверно далекие паровозные гудки... Маленькие паровозики, как будто в полусне...

«Старье бере-е-ем!»

«Бритвы-ножи-ножницы то-о-очим!»

— Мам, нам не надо ничего поточить?

— Нет, не надо.

«Кастрюли-корыта-чайники починя-я-ям!»

— Мам, нам не надо ничего починить?

— Нет, не надо.

Вечером играешь-играешь, бегаешь и вдруг: громкая песня.

— Колька! Пьяный! Пьяный! — кричали во дворе.

Пьяный — это было самое страшное. Мы подбегали и смотрели из-за угла: вон, идет!.. Шатается, готовый, может быть, кинуться на нас.

Накануне праздника ложишься спать... По Новослободской проносятся мимо Тихвинского с шуршащим визгом троллейбусы, спешащие домой... Во сне забываешь о празднике. А утром, еще в полусне-полусне, слышишь вдруг отдаленные звуки оркестра: ого! сегодня же праздник! Праздник уже идет. Потом слышны «уди-уди», под окнами начинают ходить веселые беззаботные люди в галстуках и белых рубашках с флагами или шариками в руках, и становится обидно, что у тебя до сих пор ничего нет. Бежишь к Коле, с ним

смотришь парад и, не досмотрев, бежишь с ним и пятью рублями на улицу. Там стоят лотки, мороженое и пирожки, валяются конфетные обертки и лопнувшие шарики, и люди ходят прямо по мостовой. Старушка продает «уди-уди» — досталось! И шар. И мороженое. И шарик из опилок на резиночке — пугать знакомых ребят и девчонок (может быть). А главное — праздник. Все это он. И весь день во дворе — «уди-уди», гармошка с Новослободской...

Тихие звуки похоронного оркестра...

Шумные свадьбы (татарская, например).

И только дети появлялись в нашем дворе незаметно.

II

1

Взрослые, кроме того, что жили своей жизнью, на которую мы смотрели, нашей жизни во дворе никак не способствовали. Только однажды, когда мне было семь лет, ко мне подошла наша общественница и надоумила меня организовать во дворе тимуровскую команду.

Мама вышила мне звезду на фуфайке. В команде я получился командиром. Нам сказали, куда надо пойти, и мы пошли делегацией в жэковский клуб. Когда мы туда пришли, какой-то дядя в комнате за сценой сказал, что первым делом надо составить списочек членов команды. Разграфил листок по линейке и объяснил, что такое «№ п/п» (которое должно быть сбоку) — это «номера по порядку».

С тех пор главное, чем занималась команда, — было составление ее многочисленных изменяющихся списков. Там же, в клубе, я дорвался до пишущей машинки. Я сразу сказал, что нам необходимы удосто-

верения, и стал их печатать, сидя в этой удаленной клубовской комнате.

Потом я попал в наш Дом пионеров в связи с этой командой. Какой-то дядя с плешью говорил мне про нас какие-то складные слова и записал их потом на бумажку: «Ребята нашего микрорайона...», «...в деле помощи престарелым» и так далее... Потом в один день я снова туда пришел, и нас всех повезли в Дом культуры (что? зачем? как? — непонятно). Мы собрались все за сценой, нам там в нервной обстановке выдали белые рубашки — пионерскую форму, и мне тоже дали, хотя я был без галстука, октябренок (вот черт! — они были недовольны). Из-за кулис был виден «костер»: снизу дул воздух, который колыхал красные тряпочки, из зала похожие на пламя. А потом я вышел на сцену с каким-то незнакомым мне пионером... Темный зал, полно людей. И я начал говорить туда слова, которые мне сказали (оказалось, что для этого): «Ребята нашего микрорайона...» Больше ничего не помню, все было непонятно...

А что касается того, что происходило во дворе, то Нинка (дочь того самого своего отца, который на меня кричал, чтобы я Коле не кричал) помогала старушке в черном одеянии из заднего флигеля, которая являлась представителем духовенства в нашем дворе, монашенкой. Но Нинка и без тимуровской команды ей помогала. И в конце концов, когда нам не дали комнату в каком-нибудь подвале (а такой свой «штаб», хоть внутри сложенных во дворе бревен — это была мечта!), нам надоели списки и наши большие значки с буквой Т из картонки, обтянутой красной материей, все кончилось тем, что я ходил иногда к одной бабушке (ей ведь действительно это нужно было), приносил что-нибудь из овощного (хотя для своей семьи этого не делал) — обычно зеленый лук, который она ела, на мое удивление, с сахаром и рассказывала мне что-

нибудь: она была учительницей русского языка в цирковой школе, учила Олега Попова...

Так была у нас эта команда. Шпана долго еще потом называла меня иронически «Тимур».

А шпана у нас была знаменитая, «тихвинская». Когда кто-нибудь сцеплялся, дело доходило до угроз:

— А я всю Тихвинскую позову!

— А я всю Хуторскую позову!

Хуторская от нас далеко: за Савеловским! Так что понятно, какие тут масштабы!

Но меня они никогда не били (хотя опасность такая была). Потому что я знал Григу с нашего двора.

2

Моя мама не очень любила, что я все время пропадал во дворе. Особенно до школы. Она опасалась дурного влияния улицы и хулигана Сашки (Григи), которого я обожал так, что даже целовал его в веснушчатые щеки. Сашка был из переднего флигеля. У них была большая семья — два брата, три сестры. Они жили в странной комнате, в которой паркет посередине вздуло и пол был как морская волна. Они все были маленькие, не выросшие.

Однажды я увидел, что Сашкина мать берет чужое белье, чтобы стирать...

Сашкин отец был рабочий. Мы иногда спорили. Сашка говорил: почему его отец должен получать меньше моего отца, что у него, работа легкая? А я отвечал (это был, наверное, уже не первый наш спор, и я подготовился), что зато мой отец до того, как стал столько получать, учился и ничего не получал, а Сашкин прямо сразу стал!

У Сашки были всякие шпанистые друзья не с нашего двора. Иногда они приходили и Сашку куда-нибудь звали. А он звал меня.

И вот они обнимают тебя за плечо, любят, и вы куда-то идете, делаете что-то, что они хотят... Однажды Сашка учил меня фарцевать жевательную резинку у иностранцев, которые только-только появились в Москве. Мы поехали к «Метрополю», и Сашка учил меня сказать: «Мейк чуингам, сувенир!» Я так и не сказал, было неудобно, но я знал, что Сашка этим все-таки занимается. У него были иностранные шариковые ручки. Их еще не было ни у кого, я даже верил (как и во многое другое, во что совершенно не верили взрослые), что написанное шариковой ручкой ровно через два года исчезнет.

Я чувствовал, что шпана меня засасывает. Когда ты с ними, хорошо, вы все вместе можете делать что угодно, всякие странные смелые вещи... Но потом приходишь во двор, домой — и неприятно, особенно перед мамой.

Маме не был свойствен снобизм, но она считала, что для меня больше пользы будет от интеллигентного окружения. И она отдала меня в «группу».

В «группе» не могло быть шпаны. Более того, она от нее отгонялась. «Группа» состояла из тихих детей-дошкольников интеллигентных родителей. Она собиралась в детском парке (почему-то всегда в одном и том же месте), и руководительница Анна Мартыновна (которую я именовал Мартышкой) обучала нас немецкому языку, объясняла всякие странные слова, в том числе смешные — «Ди Пуппе» (похоже на «пупок»), водила указкой по книжке, на которую падали снежинки (снегопад обучению не помеха!). Иногда родители, приходившие за нами, передавали ей конвертики с сотнями.

Дети в группе были какие-то пресные, просто даже тупые. Когда я был маленьким, я презирал тех, кто хочет быть моряком-танкистом-летчиком. Хотя я еще не знал этого слова, но по смыслу считал, что это банально. Я, напротив, хотел быть кондуктором, милици-

онером, а с шести лет до сего дня — писателем. До шести лет я делал катушки для билетов, красил милиционерскую палочку. А когда захотел стать писателем, то что? Я спросил: «А что делать?» Мне сказали: «Писать».

Одному в «группе» подарили детскую пишущую машинку, привезли из-за границы. Я как узнал, так и обалдел! Мечта! Она мне снилась! Я ему сказал:

— Давай будем книжки писать! Всякие глупости будем писать, а после издадим!

На следующий день он принес листок бумаги, на котором сверху донизу были напечатаны просто буквы, вроде: «апрефысмушалють». Вот дурак!

— Ты что, — сказал я. — Это уж слишком глупо! Надо немного поумнее. Я же говорил, что ерунду — просто по смыслу. А это кто же напечатает-то?!

«Группа» не могла засосать, в ней все было хорошо. Но двор был живой, а «группа» — мертвая.

Самое сильное чувство, которое у меня осталось от «группы», — это как я хочу «пи-пи», а отходить не разрешается, и я боюсь спросить и все терплю...

3

Писать эти строчки будет особенно приятно.

— Как тебя зовут, мальчик? — говорят мне взрослые, чтобы спросить.

— Коля, — отвечаю я.

— А сколько тебе лет? — спрашивают они, подумав.

— Семь, — отвечаю я. («Семь», — отвечаю я.)

— Значит, первого сентября в школу пойдешь? — самостоятельно догадываются взрослые, радуясь порядку в жизни.

— Нет. Второго, — говорю я, как есть.

— Как? Почему второго? — спрашивают взрослые. Они не понимают, почему второго.

— Потому что первое — воскресенье...

— А-а...

Да, второго сентября в первый раз я пошел в нашу школу — за двором. Когда я пошел в школу, моя учительница еще не знала точно, что я буду отличником. Возможно, у меня было совершенно противоположное лицо. И она меня посадила на первую парту с самой некрасивой девочкой (по мнению учительницы).

А на второй же день моей учебы учительница поставила меня самым первым из нашего первого «Б» в угол. Причем именно потому, что не разглядела во мне и в моем поступке своего будущего отличника. Дело было так. Она разлиновала доску в клетку и начала в эти клетки вписывать тире и точки, говоря:

— Все, что на доске, все должно быть у вас в тетрадях!

Я хорошо знал значение слова «все» и стал тоже разлиновывать свою тетрадку в клетку, хотя она уже была в клетку. Учительница увидела это, схватила меня за руку, вытащила, как перышко, из-за парты (хотя я бы не сопротивлялся, я ведь был первоклассник) и поставила в угол. На меня смотрел весь класс, он растянулся передо мною ромбом, это было сильное ощущение.

Но это было вначале. А потом все рассосалось. Уже стало ясно, кто отличник, а кто нет, и кого надо ставить в угол, а кто сам понимает.

Скоро у нас определился слабый ученик, Санечка. Он жил в нашем дворе, в переднем флигеле, только мы не были знакомы. Санечка стал сидеть на первой парте один, и у него никогда не лежали учебники. Он елозил по парте, вертелся и рисовал «приключения Шмида». У нас был Дима Шмидт — тихий мальчик, «хо-

роший», его привела к нам в класс мама, но довольно злой. Он был Санечкин антипод, и Санечка саркастически рисовал про него приключения, в которых над ним по-всякому издевался: «Шмид» попадал к папуасам, его отправляли одного по морю на гондоле, и акула прокусывала ее, потом им выстреливали из пушки, и он попадал на необитаемый остров — это основные мотивы бесконечных сюжетов, которые рисовал на уроках Санечка. А потом, нарисовав, жадно ожидал перемены, чтобы на подоконнике эти приключения нам рассказывать. Санечка был лентяй и на клочке из тетрадки помещал все приключения в очень маленьких рисунках, сделанных толстым пером авторучки, но мы хохотали и радовались: Санечка даже выражение лица передавал, и так точно!

В тетрадке по истории (когда у нас уже появилась история) у него стояло только одно: «саркофаг — гроб». Когда объясняли новое и всем было уже понятно, то спрашивали Санечку:

— А тебе понятно?

Он в этом месте начинал слушать учителя и говорил, кончая искать пулю:

— Понятно.

И тогда переходили к другому материалу.

У меня в классе была совершенно другая психология, чем у Санечки. Санечка чувствовал себя в школе, как во дворе. Он был двоечник, второгодник и бездельник. А я — все наоборот. Санечка плевался на уроках мерзкими промокашками через трубочку, наслаждаясь на своей первой парте опасностью быть подстреленным сзади. И все-таки Санечка жил спокойно. Школа его не трогала. Я — жил нервно. Особенно в первом классе. Почти каждую минуту ожидаешь, что вот-вот над ухом, может быть, раздастся:

— ТЫ ПОЧЕМУ НЕ НА УРОКЕ?!

Или:

— ЧТО ЭТО ТУТ ЗА ХОЖДЕНИЕ?!

И даже ночью, когда засыпаешь, вдруг вспомнишь самими ушами страшный окрик из-за спины:

— БУЛЛГАКФ!!!

(Ох ты батюшки!..) И уши даже загудят.

Я мог себе представить только в страшном сне, как я бы пришел в школу без пришитого белого воротничка. Санечка ходил в школу только без воротничка. Мама ночью рисовала мне тушью красивые карточки с цифрами (чтобы поднимать при устном счете — велели), потому что без них утром нельзя было появиться никак. А Санечке можно, даже странно было бы, если бы он появился с ними. Он бы и выглядел-то с ними смешно.

Но мы были друзьями. Насмотревшись огромного количества мультфильмов через линзу своего телевизора «КВН», Санечка обладал чувством юмора, и я за это его очень любил. Он был внимательный ко всему, удивлял меня всякими точными подробностями, которые видел в жизни («Руки, как в цирке» — то есть замком). И говорил весело про яблоко — «ляба».

Когда я с ним в школе общался, учителя этого не одобряли. «Неужели не можешь для дружбы кого-нибудь получше себе выбрать?» — так считали они. А кого «получше», Петрова, что ль? Сами же говорили ему, когда он стихотворение у стола отвечал: «Не трясись, Петров. Чего ты трясешься, я ведь тебя не съем».

А Санечка не боялся. Он даже подошел один раз в пятом классе к нашей первой красавице и спросил:

— А ты лифчик носишь?

Страшный был человек.

Нет, он не был просто хулиган. Он был такой человек. Я его очень любил! Я был под обаянием его личности. Он называл наш универмаг «Молодость» «Старостью». А ботанику — «бананикой».

Однажды меня к Санечке прикрепили.

Всех отличников и хороших учеников распределили по двоечникам, и меня прикрепили к Санечке, чтобы извлекалось хоть что-то положительное, раз уж мы вместе ходим. Мне это было очень неприятно! Одно дело наши человеческие отношения, а другое — школьные. Воображала была бы такому прикреплению только рада, а я дружил с хулиганами, дорожил их хорошим отношением к себе и стеснялся, что я отличник. И вообще, тут был какой-то дух неравенства (во дворе-то мы с Санечкой были совершенно равны!).

Но что делать, однажды мы были у меня, и я, презирая себя, сказал с как можно более человеческой интонацией:

— Сань, ну что тебе там не ясно-то?..

Но Саня настраивал меня на веселый лад. Так мы сидели, смотрели «Крокодилы» и ничего не делали. Но я помнил про занятия, хотя и смеялся. И я говорю Санечке:

— Ну чего, давай уроки сделаем?

— Да ну, Коля, — говорит он мне с интонацией «кончай притворяться, сам ведь все понимаешь». — Зачем? Скажешь, что позанимался, и я скажу.

— А она смотреть будет, она сказала, — говорю я грустно. — И если ты двойку не исправишь, мне «пять» не поставят. А тогда у меня выходит четверка в четверти.

Санечка посмотрел на меня. Он взял учебник, немного почитал и «по знакомству» решил для меня все примеры.

На следующий день его двойка по математике была исправлена. «Вот видишь, что значит постараться!» — сказала учительница, радостно глядя в журнал. (А я за это получил пятерку, что было в порядке вещей.)

Санечку же мало все это волновало. Главное — он теперь мог спокойно вертеться дальше. И даже рисо-

вать приключения — себе для приближения каникул и нам на радость.

И, наконец, случалось так, что четверть кончалась и каникулы начинались (о!), и, на наше счастье теперь, мог быть только двор. И Санечка, входя в него, от полноты чувств и ощущения свободы подбрасывал в воздух свой растрепанный портфельчик и кричал во всю ширину двора какие-нибудь нелегальные слова, например:

— ЛЮБО-ОВЬ!!

III

1

Жизнь в детстве отличалась тем, что была абсолютно наделена смыслом. Смысл нашей жизни был в самой нашей жизни.

Мы учились в школе. А что мы еще могли делать? Разве мог существовать в целом свете хоть один «более удачный вариант» (как у взрослых это бывает)? Нет, конечно. Тут все было оптимально!

А кончив учиться, мы приходили, снимали серую форму, надевали что-нибудь плохое, ласковое, в чем можно бегать, и — выходили (во двор). И были счастливы.

Дома или в школе могло быть неуютно, скучно. Могли не понимать тебя совершенно, так, что хотелось плакать. А выбежишь во двор — слезы внутри пройдут, во дворе всегда было хорошо. Каждый день после школы, если не болели или не наказывались, мы, конечно же, выбегали во двор.

Целый драгоценный день впереди! И мы думаем: вот что сегодня будем делать? Про что-то говорим:

«Да ну!» (Про «казаков-разбойников», например.) А потом вдруг что-то очень здорово подходит, и мы отправляемся это осуществлять! Какое-нибудь рискованное предприятие, например. У них был особый дух: немножко страшно; хочется, чтобы все кончилось хорошо, а это с рискованными предприятиями не всегда совмещается; а все-таки интересно, и мы идем.

Тут, конечно, важно еще, чье слово сказано: отношения-то у нас сложные! Во дворе каждый день заново решалось, уважать тебя сегодня и слушать тебя, как только ты начинаешь говорить, или же не очень.

А когда нас собиралось много, может быть даже все, бывало праздничное настроение! Все вышли, так здорово: никому еще не кричат из форточки идти домой, можно играть в какую угодно игру, на любую хватит ребят — и прежде всего в наш наилюбимейший «штандер» с досками. Я бегу домой на одном дыхании за фанерками для него (от посылок с юга), беру их как можно больше, и мы, задыхаясь, играем, и весь вечер задыхаясь, и от радости тоже...

(Были еще, правда, во дворе девчонки. Но о них даже кощунственно говорить. У них занятия были серые. «Дочки-матери» — отчерчена «квартира», они заходят туда и говорят: «чик-трак». «Секреты» — закрытые под стеклышком красивые бумажки. Прыгалки, «классики». Они не занимали во дворе серьезного места. По крайней мере, мы не обращали на них особого внимания.)

2.

Самая прекрасная, самая восхитительная, самая вкусная вещь, бывшая в нашей жизни, — это неожиданные события.

Папа приходит вдруг с работы не просто с портфе-

лем, а с какой-то еще большой коробкой! Как с коробкой?! Значит, в коробке что-то есть?! Есть! В коробке ПЫЛЕСОС! У нас теперь дома будет пылесос!

Вот мы собрали портфельчики, выучили (в разумных пределах) уроки и бредем темным зимним утром в школу со вкусом сыра во рту.

И тут вдруг кто-то бежит, спотыкаясь, навстречу и кричит:

— Уроков не будет, в школе от мороза котел лопнул!

И, захлебнувшись, чуть не падает...

Вот это да!!

Или кто-то приходит и говорит:

— В этой четверти сказали уже с авторучками приходите. Будем авторучками писать!

Ничего себе!

Когда был солнечный день, да еще воскресенье, и все дома — я просыпался и слышал негромкие голоса всех за дверью, думавших, что я сплю, — то от избытка радости я делал вот что. Еще более тишайшим образом я одевался, раскрывал окно и выпрыгивал с нашего высокого первого этажа, пролетев над подвальной ямой, в сад. Обегал кругом — и звонил в дверь!

Они открывали — а я там, пришел и не сплю! Вот здорово!

Когда бывают неожиданные события и что-то вдруг получается не по расписанию, жизнь, как подземный ручей, выбивается наружу. И появляется, о чем говорить.

3

На море мы не лежали бессмысленно под солнцем, притворившись мертвыми и затаив дыхание в сознании того, что наша кожа в эти мгновения несколько

меняет свой цвет (!!!). Нет, солнце нам и так светило. И потому мы еще могли бесконечно, пока взрослые не позовут, ползая самым неудобным образом, смотреть, какие есть на пляже интересные камни, разные ракушки, собирать их в руку, так как жалко оставлять, смотреть, как живут волны, и вообще на все то, что в изобилии происходило вокруг.

А потом конец лету и пора уезжать в Москву, то есть в далекий двор, где все мальчишки, радуясь друг другу, собираются к первому сентября, и один какой-то, самый несчастный, который оставался совсем один во дворе, становится самым счастливым оттого, что снова все во дворе.

Перед этим, еще на море, пакуется чемодан, и хочется вложить незаметно между слоями одежды баночку с белым морским песком, а вдруг взрослые не заметят, не возмутятся, высыпая его тут же на землю: «Да ты что, за две тысячи километров песок везти!» — и тогда можно будет потом, в Москве, в привычной квартире достать этот песок, и будет так странно, что он здесь, и так интересно...

Ни до этого, ни потом — ни в один год взрослой жизни у меня не было весны такой, как в 1960 году! Мне было десять лет. Я вдруг почему-то заметил ее и был дико рад ей, как будто до этого такого времени года у меня вовсе не было. Я ходил и радовался, радовался каждой расстегнутой пуговице на своем пальто, лужам, солнцу. И страшно вдруг полюбил Маяковского. Почитав дома немного его стихи, я больше не мог: захлебывался и выбегал во двор, чтобы отдышаться!

В Москве были первые Дни поэзии, и я пошел на площадь Маяковского. Стояла трибуна с поэтами, площадь вся была полна народу. И я стоял на подножке автобуса «Книги», тянул шею за Евтушенко,

которого все скандированием вызывали из толпы. А потом посмотрел вдруг на часы: ого, одиннадцать уже! Я стал пробираться, маленький, из толпы слушавших, удивленных: чего это я там так долго делал?..

Я никогда не чувствовал себя маленьким.

То есть я, конечно, знал, что сейчас мне пять лет, а вот сейчас — десять. Но знал это точно так же, как теперь знаю, что мне двадцать два. Это была моя необходимая, естественная жизнь — то, что меня называют мальчиком в троллейбусе, когда просят оторвать билетик, чтобы самой не вставать и чтобы место не пропадало, то, что мне надо пропускать в «Кинонеделе» фильмы «до шестнадцати», то, что мне стыдно стоять перед прилавком «Поэзия» в книжном магазине (потому что это выходит за рамки представления взрослых, «мальчишки не читают стихов»). Вам — пятьдесят четыре года? А мне — тринадцать. Вот и все. Разве только проблем в моей голове было, мыслей пробегало — больше...

Книги, живые книги. Тогдашние книги (хоть они и сейчас стоят на полке). Очень особенные. Со своим характером.

«Конек-Горбунук». Любимая. Возлюбленная. Единственная. Прекрасная (всеми своими чертами). Черноокая.

«Сказки братьев Гримм». Толстая. Растрепанная. Зачитанная. Загадочная (тайны в ее толще). Страх.

В метро мне казалось, что там только одна рельса, я был в том уверен. Меня к краю платформы не подпускали, и ближнюю рельсу я никогда не видел.

Но представляете, с каким чувством я ездил в вагоне?

Вся окружающая жизнь в детстве полна голосов, звуков, запахов, как лесная поляна в знойный летний полдень.

(Потом все это выключается, остается одно изображение.)

Можно было идти по дороге, а после сесть на корточки и долго-долго ее рассматривать...

Все живое, все движется, и неизвестно, куда пойдет, и, может, на тебя. И солнце светит.

IV

1

Не так давно, уже в этом году, я поехал к своему отцу в Беляево-Богородское. Перед домом его зашел в магазин. А выходя, вдруг услышал, как кто-то мне сказал — так, как я уже привык, не по-дворовому, с ударением на первом слоге:

— Коля!..

Я посмотрел и увидел Санечку! Санечка, только голос не его, грубый, мужской. Да ведь и я тоже — с бородой, странный для него!.. Как давно мы не виделись! Мы пошли к нему домой, там все та же семья, только в новой квартире — снова странно. Он спросил у матери:

— Узнаешь?

Она долго смотрела прямо в меня (сама — такая знакомая!), а потом говорит (по фамилии, как во дворе, где были семейные династии):

— Булгаков?..

Санечка — такой же, знакомые черты и чуть другие, конечно. Показал мне альбомы старинного оружия — он всегда любил эти штуки... И больше всего

чувствовалась сейчас между нами даже не наша старая дружба, а наш тот двор...

А через несколько дней я увидел вдруг Санечку на пороге нашей квартиры.

— Шапку надо отдать в ателье, решил отдать здесь, заодно зайти.

(А ехать-то сюда целый час, по пути — сто ателье...)

— Да, в Тихвинском было, конечно, здорово, — сказал он грустно. — А там мы что, не живем, а прозябаем... Хорошо бы новую квартиру, но в Тихвинском!

Санечка, Санечка, ты тоскуешь о том нашем дворе у себя в Беляево-Богородском, а я-то здесь, в Тихвинском, в том нашем дворе...

2

Я живу и сейчас в том самом доме, в том самом дворе...

Вот вхожу во двор, возвращаюсь с работы... Прохожу между топодем и задним флигелем, нагибаюсь под бельем, здороваюсь с кем-нибудь из старых жильцов, нахожу рукой ключ в кармане, чтобы сейчас взбежать через шесть стертых ступенек, пересечь вестибюль и отпереть дверь. Все. Двора — нет... Я просто огибаю это, чтобы оказаться дома. Хотя я вижу все то, что еще есть здесь, — я понимаю, что двора нет.

Потому что вспомнил, каким он был.

Однажды — мне было лет одиннадцать — я лежал перед сном и вдруг вспомнил: как мы в пальтишках наших (безнадежно рваненьких и грязненьких) ползали в темноте где-то под деревьями по саду, играя в прятки. Я вспомнил и заплакал, мне стало жалко: двор есть, сад есть, деревья те же самые, мальчишки даже те же самые, а прятки больше никогда...

Детство прошло. Много дел, и каждое — важнее происходящей постоянно жизни. Конечно, я многое уже понимаю из того, о чем не имел представления раньше. Но, когда это прекрасное понимание в одиночестве, это грустно. И кажется, единственная компенсация тех потерь (все речки вытекают, только одна впадает) — это любовь, когда она — счастье. Недаром в ней так много детского. И недаром взрослые так опасаются, как бы дети не узнали, откуда они берутся: они боятся, что сравняются тогда с ними; нам, детям, когда мы узнавали все-таки об этом во дворе, не верилось: чтобы мама и папа — это... Что они, маленькие?

И есть только один способ увидеть что-то так, как тогда. Если сесть прямо на паркет (никого нет дома), посмотреть на потолок, на ту же старую люстру высоко наверху (аж кружится голова), на стол, на буфет, то получится, как в детстве. Так было тогда все время: все в мире наверху, а ты без конца на полу с какими-то вагончиками, машинками... Сделать так можно, благо в этом доме, в этой комнате есть этот пол.

Я боюсь уезжать из этого дома, хотя тут соседи и темная кухня в четыре метра, она же «ванная»...

3

Однажды, уже студентом, я сидел перед раскрытым окном и готовился к экзамену.

Вдруг раздался страшнейший грохот самоката на подшипниках по асфальту и крик мальчишек, несущихся на нем и рядом с ним.

«Вот черти!» — досадливо подумал я, провожая улетевшие из моей головы какие-то умные мысли, которые я в ней тщательно сосредоточивал. Но тут же встрепенулся! Как это я про них так подумал?.. Это

не про меня кто-то?.. Старательно отцепил от себя, как репейник, как-то примитивно-просто возникшую неприязнь и терпеливо, стараясь не обращать на грохот внимания, сидел в своей комнате дальше.

Я вспомнил, что удовольствие от самоката — вещь святая. Недаром же столько трудов стоит найти дощечки, петли, руль, раздобыть два подшипника, все это собрать и склотить!

И что они, мальчишки, за каждую минуту, в которую я на них не кричу — она ими каждая чувствуется! — благодарны.

4

Как же это вдруг так получилось, что я не тот, кто бегал во дворе, и не тот, кто бегаёт в нём сейчас, а я оказался по ту сторону, где взрослые?..

Я — «взрослый»?

Значит, я тот самый, кем так хотелось быть в детстве? *Взрослому* ведь все можно! Он все знает! Он куда хочешь может идти, ехать, бежать, брать какие хочешь билеты, кататься сколько угодно на лодке — все! И вот я — тот?

Я же могу теперь взять и ни с того ни с сего купить и съесть целую плитку шоколада! Представляете себе? В любой момент, лишь бы магазин был открыт. Просто-напросто зайти, купить и съесть! Отламывая как попало. Или гулять по улице и невзначай — безо всякого окончания четверти, как это было у меня раньше заведено — покупать себе справа и слева через каждые полчаса по порции мороженого, и все разного сорта. Я же *взрослый*.

Да, я взрослый. И зачем мне все это? Я же получаю от этого удовольствия не больше, чем от борща... А в детстве все это было недостижимым, редким счастьем. Именно так. (Просто даже хочется не есть

теперь мороженого, какая-то тут вроде нечестность. Кошунство.)

Я — *взрослый*, тот самый, которому и бояться нечего, который живет вовсе не мучительно, без постоянных страхов, опасений, проблем?..

У взрослых жизнь простая. Да, простая. Ничто особенно не может их взволновать, заставить прийти в безграничную печаль или в безграничную радость. (Разве только, возможно, если они вдруг увидят в таблице лотереи, что выиграли «Волгу». Но что тут за вероятность?..)

Взрослому хорошо. Даже если у него и есть какие-то трудности и неприятности, он все равно точно знает им цену и всегда может по их поводу сказать: «Ну, это ерунда», «Подумаешь», «Буду я еще по такой ерунде нервы себе трепать», «Здоровье дороже», «Как-нибудь обойдется, первый раз, что ли». А мы так себя успокаивать не могли! У нас не было такой уверенности.

Или взрослый может подумать про другого взрослого: «А что он, собственно, может мне сделать? Я взрослый человек, отвечаю за себя, и нечего мне выговаривать. Прогулял — пускай делают выговор, если хотят. А слушать я их не желаю, я им не мальчик».

Мы же, мальчики, всегда жили под страхом. А вдруг я прогуляю, что тогда? Ой, господи, сколько неприятностей будет! Подумать страшно. Родителей вызовут?! Да еще вместе с тобой?! Они потом будут говорить: «Ну что ж ты, а? Какого черта мне там из-за тебя краснеть — что мне, делать, что ли, нечего? Как по-твоему?» И много всякого другого. А главное, еще перед этим из-за всяких предчувствий будет противно, будет как-то нехорошо в животе... Уже не побегаешь безмятежно по двору, вся жизнь чертовски

плоха делается. От взрослых каждую минуту всего можно ожидать, даже затрещины... И хочется втянуть голову в плечи.

Я — *взрослый*, тот самый, который глядит злыми глазами, как только мы загоримся сделать что-нибудь интересное, чего еще никогда в жизни не делали, говорит по всякой ерунде свое бесконечное «нельзя», которое, как колонну, нельзя стронуть с места, и тут же сам об этом забывает, а ты не спишь ночами, не можешь успокоиться: «Все нельзя!.. Ну почему?..»

Сколько я просил родителей купить резиновые сапоги! Ведь отчего было не купить — не велосипед же. К тому же я отличник: вроде, и придраться-то не к чему. Ан нет! Как они изворачивались, как юлили! И ногам, мол, вредно, и то и се! А ведь это было бы счастье: ре-зи-но-вы-е са-по-ги! Звучит как «эдельвейс»! В них можно гулять где угодно, по лужам, по каким хочешь лужам, и не держать уже в своей голове ничего другого, кроме главного: бегать. И выглядеть мужественно, а не обходить каждую лужицу, как маменькин сынок, боясь запачкать ботиночки. В них можно выйти во двор и чувствовать себя подворовому. В этом все дело-то!

Нет же, им почему-то — как нарочно! — нравились калоши. Боже мой, как я их ненавидел, эти противные калоши! Являться во двор в калошах! Позор! Ужасно противно. «Да ты что, — не понимали взрослые, — обувь же в них не промокает! Надевай, надевай, не выдумывай». И ни в какую! И я был вынужден пойти на неблагоприятный поступок. Одна калоша сидела на мне довольно свободно. Я сразу это заметил и, выходя во двор, был уже уверен, что она, наверное, у меня с ноги все-таки, пожалуй, слетит. В каком-нибудь сугробе скорее всего... Ведь свободно же она как-то... И мои опасения оправдались. Точно

помню — возле котельной она и слетела. А второй слетать уже не надо было: в одной калоше меня все-таки выходить на улицу не заставляли.

Потом, через год или, может, два, купили все-таки их — резиновые сапоги! Действительно, мол: в сырую погоду ребенку нужна, пожалуй, непромокаемая обувь... Это-то раз! А два, а три?! Про них вы забыли? Нашли «экономический» аргумент, посудо-хозяйственный! А духовная сторона и то, что я мечтал о них, скрежеща зубами и не имея уже никаких других мечтаний, — это для них была ерунда!

То же самое и кеды. Тоже тяжелое воспоминание. Как в них было бы хорошо, пружинисто бегать! В кедах ходили уже все лучшие мальчишки (то есть не дистрофики-отличники, а настоящие). В кедах совсем другая жизнь! Так нет, взрослым всего этого — самого главного как раз! — ни за что, ни под каким видом не объяснишь! Даже пытаться нечего. Для них нужно выдумывать опять-таки всякие «веские» аргументы: что, мол, в кедах специально имеются дырочки для воздуха!!! (потому что ногам, конечно же, «будет вредно»), что ведь все же ходят так, и ничего — и еще миллион. В общем, все то, что не имеет к смыслу нашей жизни никакого отношения.

Да, я тот самый *взрослый*... И что самое странное, мне и самому, если только я специально над этим не задумаюсь, уже чаще кажется, что занятия студенческими науками важнее, чем самокат, а стирка белья — чем всякие дела с мячом...

Еще когда я только чуть-чуть стал подрастать, и смотреть сверху на первоклашек, и вспоминать о том, что сам был вот таким же, — уже тогда появилось недоверие: ну да, мол! Эти как-то глупее, меньше! Но почему, собственно? Нет, конечно. Так только кажется. И я решил, что не буду так считать: они, мол, ничего не понимают, а думают просто. Лучше, решил

я, поверю на слово своей памяти — себе тогдашнему: ведь я-то тогдашний хорошо знал, какая неимоверно сложная у меня (него) жизни!

А теперь? И подавно!

Да взрослые просто не видели и десятой доли того, что видели все мы! Они и не могли того, что мы, хотеты! Зелен виноград. (Ведь вы же уважаете человека, который в отличие от вас владеет японским языком?) Это мы были профессора в таких вопросах, как бумажные кораблики вдоль Тихвинского, качели, запруды в песке, солнечные зайчики, подземные ходы, тайны, ракеты из киноплёнки, лужи и небо! Это мы разбирались в жизни, у нас был микроскоп! Что же касается взрослых, то они были жалкие студенты в очках «две диоптрии», они не видели ничего. И нас же поучали!

Мы не просто получали от всего этого удовольствие! Это составляло нашу жизнь (ту же, что продолжается и сейчас, и не важно, какой это был ее год по счету).

А уметь быть заодно с жизнью, уметь ее чувствовать, раз мы пришли на эту землю, — это такой талант, это такое умение, что вряд ли найдешь на этом свете какое-нибудь другое, его главней.

5

Знаете, какими мы были в детстве? Все-таки есть, наверно, один способ, как объяснить это взрослому...

Иногда, бывает, вы влюбляетесь, вы любите: такая вспышка.

В детстве мы любили.

Все время.

Не способные разлюбить, охладеть, переменить свое чувство.

Нет, мы любили не женщину, нашу единственную.

Мы любили все. Все для нас было единственным и несравненным, ни на что не похожим, ко всему мы были равнодушны. И мучились, когда нас с этим разлучали.

Нас интересовала каждая мелочь, абсолютно все в этом предмете нашей любви — как влюбленного, когда он любит, интересуется все в его любимой.

Но он, наконец, узнает ее — и больше не любит...

А мы узнать все про все не могли. И мы любили все бесконечно.

V

1

Мне было лет пять... А тетя моя, которой было значительно больше, праздновала свой юбилей. Собрались взрослые, они уже хохотали и кричали. А я сидел в углу и листал какую-то старинную книжку.

Вдруг одна страничка взяла и надорвалась! Я замер!..

(Нет, это мне сейчас так кажется, что я замер, а на самом деле я, наверно, побелел, остолбенел, онемел, пришел в ужас! Впрочем, приходят в ужас только взрослые, они ведь так об этом и говорят.)

Я в страхе еле-еле взглянул на тетю...

Она же, веселая именинница, над чем-то хохотала, раскрыв рот.

«Смеешься! — подумал я. — А вот потом увидишь здесь это и плакать будешь!»

Я залистнул жуткую страницу, никто не видел, но отныне жизнь моя стала омрачена.

Мама говорила мне всегда «спокойной ночи», но теперь я попросил ее говорить лучше что-нибудь более неопределенное. Потому что после этого случая быть совсем спокойным я уже не могу...

Ночью перед сном в кровати я иногда подводил итог своей жизни. Думал так: «Что у меня в жизни сейчас плохо, из-за чего, собственно, я не могу быть спокоен сейчас?» Я думал так, конечно, для того, чтобы сделать вывод: «Ничего», — и безоблачно уснуть. (Ведь что может быть, действительно, лучше для человека, чем знать, что в его жизни все хорошо, и даже зубы лечить не надо?) Но что-то всегда, к сожалению, находилось... И очень долго это была тетина страничка!

А сама тетя о ней, наверно, так и не узнала... Или, может, увидела ее, но даже не обратила внимания!

Да и я вряд ли смог бы теперь разыскать ту книжку и ту страничку.

А если бы нашел, то вздрогнул.

2

В первом классе я без памяти влюбился.

Это была самая сильная любовь в моей жизни.

Она была великолепна. (И надо же было так случиться, что мы попали в один класс!) Маленькая, хрупкая, как говорится, с большим бантом на голове, чуть смуглая, с мягкой улыбкой, стриженная под мальчика и быстрая — в общем, очень, очень красивая, больше чем красивая, лучше не могла быть, это точно. И имя ее прекрасное: на одну букву (первую) короче, чем мое. Разве это случайно?!

Скоро мы стали сидеть на одной парте. И на уроке (боже упаси на перемене! — разговоры пойдут) немножко перешептывались. Меня интересовала каждая мелочь из ее жизни (и хотелось, чтобы она знала и обо мне — какие-то подробности, что мне вообще нравится...). Она, оказалось, наполовину финка, отец ее умер, когда ей был год, попал под поезд, родилась она на Байкале... И так далее, и так далее...

А кроме того (поскольку на уроках не хватало времени или смелости, если строгий учитель), множество подробностей ее жизни выуживали мои цепкие на это глаза и уши: из ее слов подругам, из того, с кем она стоит, куда пошла, — изо всего, все до крохи было важно!

Вдруг мы с Санечкой видим ее во дворе: она куда-то идет ровнейшей своей походкой в спортивном костюме. У Санечки сложилось свойственное ему скептически-ироническое к ней отношение (отличница!). Санечка столь отрицательно ко всему в ней относился, что в меня (ревность, что ли?) иногда даже закрадывалось сомнение: а не кроется ли за этим что-нибудь противоположное? Но нет. Все-таки упорно оказывалось, что не кроется. И вот я на этом играю, говорю Санечке с недобрыми этакими намерениями в голосе.

— Куда это она пошла, пойдем, последим! — И мы идем, следим за ней, чтобы она нас не заметила, перебегаем от кустов к кустам. А я так узнаю, что она ходит в «Крылышки» — «Крылья Советов», заниматься гимнастикой...

Мы учились во вторую смену, и последние, вечерние уроки бывали теплыми, хорошими: как всегда в школе, к концу занятий спадает напряжение, а тут еще и зажигался свет, за окнами темнело, и получался не столько урок, сколько что-то почти домашнее. Все бывали немного веселыми, и мы с Ольгой сидели на своей парте радостные и иногда улыбались друг другу... Я помню вечернее окошко — как мы там отражаемся: вдвоем, совсем рядом и отдельно ото всех — почти как семья, что ли, такое у меня было ощущение...

Сейчас я понимаю, что классная руководительница не случайно так сделала — посадила нас вместе, она чувствовала, что тут такое. И мы оба отличники (она всегда была первой в классе, я — вторым). Нам

бы пожениться тогда! Боже мой, я же раздумывал даже перед сном, как мы будем воспитывать с Ольгой наших детей — что-то ей мысленно разъяснял, советовал...

Я входил в коридор, в класс, заворачивал за угол — первая мысль была всегда: тут ли она?

Вот я прибежал из школы раньше нее и смотрю в окошко, пройдет ли она. И если появлялась ее шапочка — пятнисто-желтая, — сердце падало. И день был счастливый.

Одно из самых сильных ощущений: она пришла за мной в класс позвать в актовый зал фотографироваться (на доску Почета), и мы с ней бежим вместе, и одни, вдвоем — на лестнице!

Я только о ней и думал. И имена так подходят! И у нее старший брат тоже Коля! Я писал ее имя сам себе на бумажке летом в разлуке, а потом заклеивал, чтобы никто не видел. Я был так влюблен, что даже, кажется, не особенно мучился над вопросом взаимности. Было некогда, все время уходило на свое собственное.

Да и не верилось во взаимность: ну почему вдруг? В классе столько мальчишек, влюбленных в нее, — ведь не хуже меня. Когда она дежурила по классу и нужно было приходить в школу «к без пятнадцати восемь», чтобы приготовить тряпку, мел и вообще, — полкласса (мальчишки преобладающе) приходило тоже «к без пятнадцати восемь», ущемляя свой сон, и я тоже превозмогал, приходил, и мне было неловко, конечно, что я тут между ними всеми тоже кручусь — не то что ей, милой, смущенной, но довольной всем этим королеве... И потом, зачем обязательно лезть с этим? Я презирал Толика, сидевшего перед нами, который один раз оборачивается и с лирическим видом передает Ольге клочок бумажки, на котором авторучкой нарисовано сердце со стрелой. И это при

мне! У меня все по-другому! Я не могу, чтоб об этом хоть кто-то знал! У меня все внутри. Нам с Ольгой все ясно без слов! И я чуть улыбаюсь лишь, и мы понимающе переглядываемся...

Я читал взахлеб Маяковского — и все это было для меня живое: «Люблю!», «Про это». Я чувствовал во всем этом себя. И даже написал однажды Ольге (или только хотел?..):

*Всемогуший, ты выдумал пару рук,
Сделал, чтоб у каждого была голова,
Отчего ты не сделал, чтобы было без мук
Целовать, целовать, целовать?...*

Когда я узнал через кого-то, что она брату сказала: «Мне Булгаков нравится», — я чуть не упал от счастья! Тут же, во дворе (помню это место). Как же так? Почему еще и это вдруг совпало?! (Когда очень любишь, это всегда странно, такое совпадение!) Мне только этого в жизни не хватало.

Это было в самом счастливом, третьем, классе.

А потом все стало хуже. Сложнее, труднее.

Да, я по-прежнему ее очень любил. Но я видел, что человек она все-таки неважный... Никуда не денешься...

Она, к сожалению, злой человек. Эгоистичный. Воображала (ей обязательно надо было заниматься гимнастикой и петь!). Она не терпит критики. Слишком избалована бабушкой (всегда свежие воротнички и манжеты, от которых пахло утюгом), учителями и мальчишками-поклонниками. И вообще. (Это «вообще», конечно, было — я полностью доверяю себе тогдашнему.)

И я решил не любить ее. Но не мог. Это было сильнее моего разума, очевидных его выводов. И стоило мне увидеть ее — все становилось по-прежнему.

Даже уже в шестом классе, когда мы у одного парня из класса отмечали 23 февраля — с патефоном

и танцами («По набережной», «Лолипап»), я был счастлив только потому, что здесь — она.

Одним мальчиком в этот вечер было больше. Когда все уже танцевали, мы с Лешкой и Оля с цветком в руке были в некоторой нерешительности. Тогда Лешка сказал Оле:

— Отдай цветок тому, кто останется.

И она отдала его Лешке...

И мы пошли с ней танцевать.

Нет, это было счастье! Все мои «сверхзадачи» исчезли! Наши коленки иногда стукались — мне было так неловко! И я был до оглушенности счастливый. (Сейчас, в двадцать два года, я был бы счастлив точно так же. Да нет, какой там, дай бог так сейчас!) То был один из самых счастливейших моментов в жизни. Так я к нему и отношусь.

Мы с ней встретились потом опять, через много лет. Нам уже было по восемнадцати.

Контакта не было. Нового, нынешнего, ничего. Ну ровным счетом ничего...

Но в тот же вечер поцеловались на берегу Щемиловского пруда...

Она почему-то нервно курила по сигарете после каждого поцелуя.

А я бы, наверно, тоже курил, если бы курил: о боже мой, поцеловать ее через десять лет!

Это все теперь было прошлое, все — оттуда!..

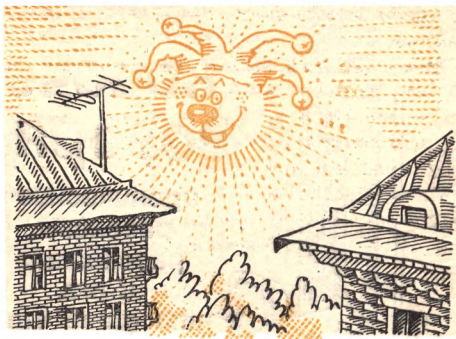
Значит, все тогдашние мысли, огромные чувства — все это правда, все это с нами действительно было!..



короче говоря...

иронические
рассказы,
рассказики
и то,
что даже еще
короче





**«Ненавижу всяческую мертвечину!
Обожаю всяческую жизнь!»**

Вот лозунг Маяковского. Кто-то скажет: «Как это можно «обожать всяческую жизнь», ведь в ней есть и хорошее и плохое?..» Да, есть, конечно. Но «всяческая жизнь» — это не все то, что существует, просто «имеет место». А «всяческая мертвечина» — это не обязательно каменные развалины или дырявые кастрюли. Маяковский, надо думать, ненавидел мертвечину и вполне живущую — ту, что ходит, дышит, даже разговаривает. Мертвечина — она ведь не безобидно лежит без движения, она борется за свое существование. Жизнь для нее — смерть. Вот она и борется с жизнью.

Так какая же тогда между той и другой разница? Как их различать?

У «всяческой жизни» есть одна очень важная особенность. Она все время развивается, растет, рождается заново... А «всяческая мертвечина» этого не может.

Если хорошее остановилось, залюбовалось собой — что толку тогда от его достоинств, что в нем хорошего? Одно название.

Юмор помогает нам видеть за вывеской суть, разоблачать то, что только кажется хорошим, важным, серьезным, нужным, и потому обращать наше внимание на то, что действительно серьезно и важно. Несерьезен не смех. Несерьезно, никчемно то, над чем он смеется.

«Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни», — провозгласил Мишель де Монтень, французский философ, писатель XVI века.

Короче говоря,

БУДЕМ ВЕСЕЛЫМИ!

Ужасная Надька

В классе был объявлен глубокий всеобщий траур. Немедленно были сняты до конца года газеты «Ежик» и «Колючка», отменены намеченные культпоходы в кино и музей. Произошло ужасное событие...

Виновата была Надька. Да, Надька Семенова, маленькая, безобидная, казалось бы, девчонка, от которой ничего страшного нельзя было ожидать. И вот вдруг такое...

Произошло это в 7-м «Б».

Год шел вроде бы спокойно, без каких бы то ни было особенных происшествий. Учились, получали, как всегда, все, что только предусмотрено пятибалльной системой, в конце четверти бегали на дополнительные исправлять «пары», выпускали стенгазеты к седьмому ноября, Новому году и т. д. Нужно было

иметь «Пионерский уголок» — имели. Состоял он из одного только синего листа с зеленым заголовком, но его имели. Нужно было выбирать члена совета командиров — выбирали. Как всегда, выполнялись пионерские поручения, делались пионерские дела... Их было поручено записывать Надьке Семеновой. Все-все. Даже самые маленькие, совсем незаметные.

— Смотри записывай, Семенова! Кстати, вон вчера газету выпустили, — напоминала ей иногда Ирина Степановна, классный руководитель. И Семенова исправно записывала. Во всяком случае, кивала головой.

Но вот в один страшный день Надька, опустив голову, призналась перед учительским столом, что потеряла свои бесценные записи.

— Да?.. — рассеянно отреагировала Ирина Степановна, не поднимая головы над журналом. И вдруг быстро взглянула на нее: — Что-о? Потеряла? Запись? Какой ужас!.. Что же мы теперь делать будем? Ты хоть понимаешь, что ты наделала? Ребята! Вы знаете, что случилось! Мы Семеновой поручали... Скажи, тебе поручали? Что ты молчишь? Тебя спрашивают — поручали?

— Поручали...

— Тебе ребята доверяли?

— Доверя...

— А ты доверие их оправдала? Ты зачем галочки ставила, чтоб потом потерять? Отвечай, с тобой разговаривают.

— Не-ет...

— А зачем тогда теряла? Ребята почти целый год работали, старались, и вот теперь все насмарку, все пропало. Они что, просто так это все делали, что ли?.. Ну что вот теперь с тобой делать?

— Ирина Степановна, я ведь не нарочно... так получилось...

— Что значит «не нарочно»? Сегодня ты не нарочно тетрадь потеряла, завтра не нарочно дом подожгла, а потом тебя за «не нарочно», может, и судить будут! Так что этим ты, голубушка, не оправдаешься!..

Назавтра все учителя уже знали о случившемся и, входя в класс, поглядывали на третью парту в первом ряду, где сидела несчастная Семенова. Некоторые сокрушенно покачивали головой:

— Ай-й-й! Как же это так могло случиться, а?..

А время, несмотря ни на что, например, на сломанные школьные часы, шло, и мало-помалу все потихоньку улеглось среди звонков, уроков и перемен. В конце концов, погоревали — и хватит. Можно сказать, слезами горю не поможешь... Да и дела ведь записывала теперь уже Света.



Забывчивый я очень

Я всегда что-нибудь забываю, что кадо на урок принести. Просто несчастье какое-то. Я не отличник ведь, чтоб все таскать в портфельчике, даже контурную карту. Или ластик. Или линейку. Или цветные карандаши. Или запасную тетрадку. И мне говорят учителя:

— А ты, Сивцов, голову дома не забыл?

А один раз прихожу в школу, а на меня все ребята пальцем показывают и смеются.

А на уроке мне учительница говорит:

— Сивцов, где твоя линейка? Дома забыл?

А ты го...

И вдруг испугалась, побледнела и говорит:

— Что это с тобой, Сивцов?! Где твоя голова?

— Я ее забыл.

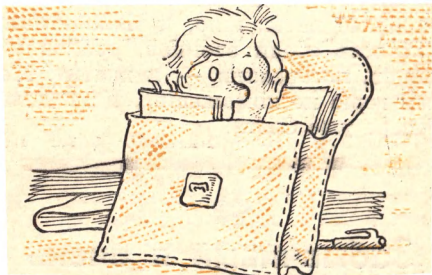
— Ты что болтаешь? И вообще, чем же ты ее тогда забыл?! — шепчет мне сосед по парте.

— Где забыл? — спрашивает учительница.

Я говорю:

— На окне, наверное, лежит дома.

В общем, меня отпустили домой за головой, она на окне лежала, а учительница наша так разволновалась, что всех домой отпустила.



«Надо. Было. Учить»

В одной школе однажды...

А была эта школа, может, в городе, а может, в селе, а может, не в городе и не в селе, а совсем даже в поселке городского типа — школа как школа, с номером.

Однако...

Однажды...

В этой школе...

Появились такие слова: «А У ЗАМАСКИНА НОСОВОГО ПЛАТКА НЕТ В КАРМАНЕ, А ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО ГРЯЗНЫЙ».

Кто-то на перемене их увидел, уничтожил и сказал:

— Это хулиганство — такое про своего товарища писать.

И пошел, ни о чем не подозревая, дальше.

Затем...

На одном уроке...

Кто-то отвечал тему «Парнокопытные» и почти ничего не знал, хотя его давно не спрашивали. Ему поставили двойку, и он сказал: «ЗА ТАКОЙ ОТВЕТ ПРИ КЕРЕНСКОМ ТРИ С МИНУСОМ СТАВИЛИ!» Тогда ему, ни о чем не подозревая, кто-то сказал:

— Надо. Было. Учить.

Кроме того...

Через некоторое время...

На совершенно другом уроке...

Была перехвачена записка следующего содержания: «ИРКА, ОЙ, У МЕНЯ, КАЖЕТСЯ, ПЕТРУХОВ ВСЕ-ТАКИ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ... А ВЫРЯГИН ВСЕ РАВНО НА ВТОРОМ. А У ТЕБЯ?»

И в то же время...

На том же уроке в том же классе...

Но на другом направлении...

Была перехвачена другая записка: «СВЕТА, КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЛЮБОВЬ — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КОЛЬЦО? НАПИШИ СКОРЕЙ, МНЕ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ДО ПЕРЕМЕНЫ». И чуть попозже кто-то кому-то, ни о чем не подозревая, сказал:

— Так дальше продолжаться не может. Это, как

правило, ведет и к несерьезному отношению к делу. Необходимо в самый ближайший момент обратить на это самое пристальное внимание.

А после всех этих уроков...

Уже не в классе...

Один человек говорил следующее:

— У МЕНЯ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ДАВАЙТЕ ЕЛКУ ПОДВЕСИМ НА ВЕРЕВКЕ К ПОТОЛКУ, И ОНА БУДЕТ БОЛТАТЬСЯ! ВО-ПЕРВЫХ, ВЕСЕЛЕЙ, А ВО-ВТОРЫХ, ТАНЦЕВАТЬ СВОБОДНЕЙ! И ДАВАЙТЕ ДЕДОМ МОРОЗОМ БУДЕТ СПАЛЬЧИКОВА ИЗ ШЕСТОГО «Б», А СНЕГУРОЧКОЙ — ВИТЬКА-БАСКЕТБОЛИСТ ИЗ ДЕСЯТОГО!..

Но через минуту...

Другой человек...

Ни о чем не подозревая, говорил:

— Нет, конец пустым разговорам! Пора браться за конкретные дела! Вот я беру ручку, бумагу и сажусь записывать. Потому что прежде всего надо составить конкретный список. Конкретных дел. И назначить ответственных. За конкретные дела. И их заместителей. Конкретных. И наметить сроки выполнения (поставьте — узкая графа справа). Чтоб никто не вздумал увильнуть. И чтоб каждая конкретная галочка о выполнении каждого конкретного дельца была заверена подписью ответственного! И чтоб безо всякой демагогии! Прямо и начнем. Первое. Я ведь демагогии тер-р-п-петь не могу... Итак, конкретная тема (широкая графа). Собрание. «О понижении во втором полугодии ахинейности текущих ответов».

А между тем...

Пока говорившие ни о чем не подозревали...

Одна очень нужная в школе двутавровая балка на нижнем этаже, до которой доносились их слова...

Лежала-лежала, держала-держала и вдруг не держала.

Потому что ее от угрюмости съела ржавчина. И эта балка (страшно сказать!) рассыпалась.

И из-за нее ночью...

Нет, мне просто страшно об этом писать!..



Эхтройкаптицатройка!

— Да это Николай Васильевич Гоголь! — удивился Вита Моголев, ученик 402-й школы, разглядев в очереди перед собой старомодного мужчину.

— Совершенно верно, а откуда ты меня знаешь?

— Ну как же, вы ведь, гражданин, великий русский писатель, обличитель николаевской России?

— Да?.. А я, признаюсь, и не знал.

— Нет, это я точно знаю, можете поверить. Мы ведь вас сейчас в школе проходим. Поэтому и узнал. А встретить я вас через неделю — уже забыл бы, мог и не узнать.

— И как же это вы меня проходите?

— Ну как, сперва биографию вашу учили. Это ведь самое главное, что нужно в писателе изучать. Честно говоря, вы ее растянули. Ну разве не могли странички на две поменьше сделать? Ведь ваша — что хотите, то и сделайте. А нам учи. Но зато она у вас без периодов.

— Без каких периодов?

— Ну, как у Пушкина: петербургский там период, период южной ссылки. Это чтобы по дате написания

стихотворения определять, где был автор в этот момент. Вы родились 20 марта 1809 года, а 1834—1835 годы — годы ваших раздумий о своем дальнейшем пути, а умерли вы 21 февраля...

— Вот ты биографию учил мою и вообще всех писателей, — перебил Гоголь. — А что мы были за люди, ты знаешь?

— Какие люди?

— Ну вот какая разница между мною и, скажем, Пушкиным?

— А-а, ясно, это же мы проходили. Пушкин — он великий гениальный русский поэт, а вы — великий русский писатель с отдельными гениальными произведениями обличительного характера России.

— И вся разница?.. Так-так... А неужто все-таки меня до сих пор читают? — взволнованно спросил Гоголь.

— Не все, конечно. Некоторые так наловчились литературные произведения проходить, что могут и не читать. А зачем? И так хорошо проходим. Учебник или литературку критическую малость подчитаешь — образ и готов, чего еще надо. Мы в классе договорились, что каждые четыре человека по главе из «Мертвых душ» читают, а потом всем содержание рассказывают. А там уж нам прямо сказали, что мертвые души — это сами помещики и есть с их бедными интересами. Правильно? А то я когда сам читал по жребию четвертую главу, Ноздрев мне даже немного понравился: такой темпераментный человек, с ним не соскучишься. А оказалось, что он весь отрицательный и мертвая душа. И все на место стало...

Гоголь принял валидол.

— А потом учили отрывок «Эх тройка пугача тройка!», — продолжал Витя Моголев.

— А почему же вы именно этот отрывок учили?

— Как почему? Потому что задали.
— А я уж решил, потому что он вам понравился, — грустно усмехнулся Гоголь.



Жестокий рассказ

Вот уж когда больше всего есть хочется, так это на собрании, если оно после шестого урока. Прямо невозможно. Хоть парту грызи или коржик из портфеля доставай. Только его все равно расхватают на крошки.

А Вера Горнюкова — она собрание ведет — все орет и орет. И весь класс орет. Учителя говорят: если каждый по одному слову скажет, что будет. А сейчас не по одному. Так что Горнюкова зря орет. Только разговаривать мешает.

Только все забудут, что они домой хотят и им обедать пора — разговарятся, в общем, — тут Верка в этом орове — гарк! И все вспомнят, что они на собрании сидят, и на самую что ни на есть землю спустятся.

Вдруг из двери девчонка высунулась и громко прошипела:

— Ферка! Горнюко-офа! Поди-ка.

Горнюкова с видом «ну что еще» подошла, и та ей сообщила:

— А Уткин с Петуховой в кино были! Вдво-ем. Представляешь себе, как дело-то обернулось. Я ему сказала, эдак между прочим, что она о нем хорошего мнения и вообще, такое впечатление... И ей сказала, что он о ней тоже. И вот видишь, они уже. Талант я, а, Верк!

Горнюкова молчала. Это была потрясающая новость! Нет, кто бы мог подумать...

— Только никому, ладно?

— Ага... — сказала Горнюкова.

Она вошла в класс, чтобы вести собрание. О повестке дня, предложенной комитетом, говорить, о ближайших задачах. В другой-то раз она бы, конечно, преспокойно это все говорила. И думать могла бы о чем угодно при этом. Но сейчас, когда нужно было опять гаркнуть, она набрала воздуха и неожиданно для себя выпалила:

— А Уткин с Петуховой — то-то и то-то.

Это было ужасно. Это же была такая тайна!

Горнюкова поперхнулась. Что будет!

Ничего не было. Просто никто внимания не обратил, чего она там еще гаркнула. Как всегда.



Уметь надо!

— Я один раз в стенгазету нашу даже написал. Во был случай! Ну пристали ко мне — напиши да напиши. Я и написал. Да я бы, конечно, сам так не на-

писал. Это мне редактор наш, Алешка Стеклопов, подправил, где надо, чтоб складней было. Вот, можете сами посмотреть:

Это как сперва было	А это как потом
<p>Мишка с Санькой влетели в подъезд, весь исписанный, что «Витя + Миша = ...», он был тускло освещен лампочкой, которую уже вернули на месте разбитой. В этот момент из мусоропровода выскочила черная кошка с полхвостом и прошмыгнула. Они подбежали к первой попавшейся двери и стали стучать. Через цепочку выглянула женщина в фартуке и с кастрюлей в руках.</p> <p>— Тетенька, у вас бумага есть? — спросил Мишка.</p> <p>— Какая еще бумага?</p> <p>— Саньк, чего нам директор собирать-то велел? Ну, эта... Маскулатура.</p> <p>— Маскулатура? Это что, газеты, что ль? Это есть. Вот, берите. Это пра-</p>	<p>Стройным шагом группа ребят в составе Миши и Сани вошла в хорошо освещенный подъезд нового жилого дома на 100 отдельных благоустроенных квартир, подошла к квартире за номером 1, мимо которой в данный момент прошла спускавшаяся с верхнего этажа белая кошка с живописным хвостом, и позвонила. Ей открыла немолодая уже женщина.</p> <p>— Гражданка, мы юные пионеры школы № 123, расположенной в данном микрорайоне. Наш отряд принял обязательство собрать тонну макулатуры, из которой на фабриках будут для нас сделаны тысячи новых тетрадей. Мы боремся с четвертым «А» и по предварительным итогам несколько их обогнали!</p>

вильно, это хорошо, что вам дело-то нашли. Хотя не озорничаете, пока ходите.

Дверь захлопнулась. А ребята побежали дальше.

— Может, лучше голубей сделаем?! — предложил Санька. — И с пятого этажа, а?..

В звонком голосе детей звучала неприкрытая гордость за свой родной отряд.

— Молодцы, дети! Так и надо! — проговорила женщина. И добавила: — Молодцы!..

На глазах ее появились нескрываемые слезы радости: она вспомнила свое пионерское детство.

Женщина вынесла книги Андерсена, Конан-Дойля и сказала:

— Вот вам, дорогие ребята, не нужна мне эта макулатура, возьмите.

Ребята были глубоко рады и сердечно поблагодарили совершенно незнакомую им женщину.

Сбор макулатуры продолжается.



И я пошел и все увидел

У меня в старшем классе один парень есть знакомый, Игорь, вожатый. Мне тоже дали эту малышню. Только я не знаю, что с ней делать! То ли дело он! Я спрашиваю:

— Как это ты с ними справляешься со всеми столько времени?

А он говорит:

— Приходи, сам посмотришь.

И я пошел и все увидел.

— Значит, так. Из тридцати восьми учеников 1-го «Б» нам осталось рекомендовать к приему в октябрю тридцать восьмую кандидатуру — Сашу Арлова. Какие будут высказывания? Я что-то не слышу.

— Саша Арлов хорошо учится и хорошо себя ведет, он хороший товарищ. У него есть двойки, но их исправит, и у него их не будет.

— А как с общественной работой?

— Саша активно участвует в общественной жизни класса.

— Та-ак... Металлолом собирал?

— Да. Гвоздь принес. Правда, ржавый.

— Что же это ты, Саша?

— Д-д...

— А скажи, Саша, в каком году Спартак родился?

— Ф-ф... 1799-м.

— Ну что ты, Саша! Ну как же так? Это же Лермонтов. А какое у нас событие?

— М-м?..

— Ну, какое такое большо-ое событие произошло у нас в последнее время? Люди еще приезжали. Ну?

— Первенство мира по хоккею?!

— Да нет же. Не угад... То есть неправильно. А «Звездочку» ты читаешь?

— Н-н...

— Ну, ничего, станет октябреньком — будет читать.

— Саша, а как у тебя с мусорным ведром — выносишь?

— Н-н... то есть, в-в...

— А что это, Саша, у тебя, вроде карман прожжен?..

— Что вы, это он химией в лаборатории занимался, после уроков! Это не папирос...

— Да я не к тому. Я хочу сказать, зашить нужно... А какую ты должность, Арлов, возьмешь? Учти, каждому октябренку — дело по душе! Из-за этого каждый обязан иметь обязательно должность. Давай ты будешь командиром звездочки.

— О-о-о...

— Ничего, ничего. Разве это дело тебе не по душе?! Ну что ж, я считаю, есть предложение принять. Кто за? Кто против, воздержался? Ты это что, Невылазьев, воздержался? Тебе что, безразлична судьба твоего товарища? Ну вот. Единогласно.

— Ну что? — спросил у меня после всего Игорь.

— Здорово, — сказал я. — Все четко, в элементе. У меня, наверно, так никогда не получится.

А Игорь, сказал:

— Ну что ж. Не сразу.



Чет-незачет?..

- Знаешь?
- Д-д...
- Знаешь?
- Д-д... Кой-что!
- Рассказывай.
- Не знаю.
- Незачет. Следующий. Знаешь?
- Знаешь.
- Что за шутки! Незачет. Следующий. Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- А все.
- Все?! Все даже я не знаю. Незачет. Следующий.
- Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- Что спросите.
- А что спрошу?
- «Слово о полку Игореве».
- Рассказывай.
-
- Все? Молодец. Знаешь. Зачет. Следующий.
- Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- Матерьял.
- Какой материал?
- Текущий.
- Зачет. Следующий.
- Простите, мы вдвоем.
- Давайте. Знаете?
- Знаем.

— Тогда отвечайте. Та-ак... Что же вас спро... Зачет небось хотите?..

— Именно. Хотим. Очень... Оба. Как есть хотим.

— Молодцы. Зачет-зачет. Следующий.

— Уже рядом с вами.

— Что у меня в руке: зачет-незачет... зачет-незачет?

— Зачет.

— Угадал. Следующий.

— Я.

— Что?

— Влюблен.

— В кого?

— В предмет.

— В какой?

— Как какой, моей любви.

— А в какой?

— В ваш!

— Ну а в какой?..

— Который сдаем!

— А который сдаем?..

— Ну... вы уж придираетесь...

— Незачет. Следующий.

— Я.

— Что?

— Влюблен.

— В кого?

— В историю древнерусской литературы.

— Зачет. Следующий.

— Я.

— Что?

— Влюблен.

— В кого?

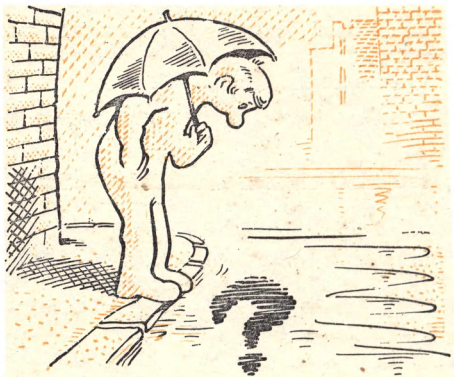
— В вас.

— Нахал. Зачет. Следующий.

— Мы.

- Кто?
- Следующие.
- А кто?..
- Кольк! Кольк! Кончай спать, зачет проспишь!..
- А это что, еще незачет?
- Зачет. Только ты заснул. А тут уже двоих спросили!





Вокруг тебя люди, великое множество. И все-таки такого же, как ты, среди них не найти. Твои мысли, чувства — все, что есть у тебя, — неповторимо.

Я не к тому это говорю, что тебе нужно день и ночь ломать голову, чем бы среди других выделиться. Ты и так выделяешься.

Ты неповторим — и потому ты можешь сделать то, чего не сделает другой. Пусть ты вроде и не поешь, и не пляшешь лучше других, и не рисуешь... Но все-таки у тебя есть что-то твое, хорошее. И оно рано или поздно станет видимым.

Ты неповторим — и потому ты можешь в чем-то важном сказать собственное «за» или «против», зависящее от твоего взгляда на обстоятельства, а не от обстоятельств.

Короче говоря, это не вопрос ради любопытства, ради успокоения самолюбия, а важная проблема, без которой нельзя и шагу ступить тебе в жизни, и ты должен решить сам:

ТЫ КТО?

Трудно быть белой вороной

Однажды в лесу появилась белая ворона. Серебристо-белая.

— Нет, вы только посмотрите, ведь это надо же! — заговорили пожилые черные вороны.

Но молодые вороны окружили ее завистливым кольцом. Они восторженно молчали.

Они не выдержали и спросили у белой вороны химический состав и все такое...

Белая ворона (для которой, между прочим, это был один из счастливейших моментов жизни) размеренно отвечала.

И вот все больше стало появляться белых, серебристых ворон.

А на черных еще ворон все стали смотреть как на каких-то безнадежно серых.

Но ведь смысл всего этого в том только и был, чтобы быть белой вороной среди других. А какая же ты белая ворона, если все белые?

Поэтому... однажды в лесу появилась белая ворона. Фиолетово-черная.

Об остальном вы уже, конечно, догадываетесь.



Ты кто?

- Ты кто?
 - Петя...
 - Нет, кто ты?
 - Ну, Мулюкин.
 - Да нет, кто ты есть?
 - Человек...
 - Неважно, а еще?
 - Пешеход.
 - Да нет, кто ты?
 - Телезритель... Радиослушатель...
 - Не-ет... Ты-то кто?
 - Ну, учащийся.
 - И кто? Вот я, например, учетчик общественных должностей. А ты?
 - А-а-а!.. Сейчас. Ответственный за наблюдающими за выставлением прогулянных уроков на последней странице журнала.
 - Вот наконец-то, сразу бы.
-



Можно выйти?

- Куда пошел?! Надо сказать «можно выйти?».
- Я скажу: «можно». А так — нельзя.
- Можно выйти?
- Нет, теперь уже нельзя. Надо было сразу. А ты куда пошел?
- Мне... Вот тут надо...
- Ничего не надо. Так часто не ходят. Останься.
- Что «когда будет можно»?
- Когда вам будет уже не часто?

— Другие еще не ходили, а ты что — особенный? Что взял?

— Тут, книжку... Я хочу...

— Ничего не хочешь. Тебе это не интересно. Положи на место.

— А что можно взять?

— А зачем тебе брать? Сиди спокойно, как другие сидят. Или, может, ты не хочешь? А?!

— Хочу. Можно выйти?

— Ну вот и сиди. Что изображено на картинке, на странице 291?

— Дом.

— Так. А еще что?

— Идет дым. Можно выйти?..

— Ты уже просился. Я что тебе ответила? Что еще изображено на картинке? Ну, говори.

— Дом и идет дым... Небо!

— Мало. Что еще? Посмотри как следует. Откуда дым идет? Посмотри, ты обязан это отвечать.

— Из дома.

— Бестолочь! Ты почему не схватываешь? Говори, не схватываешь ты почему, а? Да ты в картинку, в картинку смотри, а не на меня, на мне ничего не изображено! Откуда дым-то?!

— Из печки.

— Где ты увидел печь?! У тебя что, букварь особенный? А? Покажи мне печь.

— Она внутри.

— А я тебе что говорю?

— «Откуда дым».

— Не откуда дым, а что изображено на картинке. Ты почему не можешь делать, что все делают? Ничему не научишься, так и останешься! Никем не будешь! Ты кем ведь у нас хочешь быть?

— Поэтом...

— Это кто же тебя научил?! Космонавтом, космо-

навом, космонавом, космонавом! Понял? Ну скажи, кем ты хочешь быть? Кем в твоём возрасте быть хотеть ещё на-до? Космо... Ну?..

— Я буду поэтом... Я стихи уже пишу...

— Это ты дома можешь стихи перед мамой писать. А раз ты в школу пришел, то здесь обязан хотеть как положено детям. Посмотри на своих товарищей. Иванов, ты кем хочешь быть?

— Я?.. Космонавом.

— А ты, Петров? Как, по-твоему, кем ты уже с ранних лет хочешь быть?

— Космонавом.

— Повтори теперь, а ты кем хочешь быть?

— Можно выйти?

— А кем быть хочешь?

— Поэтом...

— Ты что это? А?! Что это с тобой? Может, ты особенный?

— Да...

— Что-о-о?! Ты как это разговариваешь?! Под каким ты номером в журнале?

— Под пятнадцатым.

— Та-ак... Пятнадцатый. Пушкин. Саша... Ладно, можешь выйти, только по коридору не бежать!



...Чил, учил, учил, уч...

— По-честному говоря, всему бывает конец. В каком смысле? В таком смысле, что всему бывает предел. Это я точно считаю. (Хоть я и сказал на астрономии Алексей Палычу, потому что он спросил:

— А есть ли, Федякин, вселенной конец?

— А куда, Алексей Палыч?

— Что «куда»?

— То есть какой?

— Что «какой»?

— Какой вселенной?

— Как какой?

— Н-ну... нашей?

— Нашей, нашей.

— Есть...

— Что-что?

— ...ли? Вселенной нашей конец? Есть ли? Нет! Вселенной конца нет, — хоть и сказал я.)

И голове нашей, то есть мозгам нашим, предел есть. Можно ли до бесконечности узнать новое?! Вот что меня в настоящее время волнует! Узнавать и узнавать новое можно ли до беспредельности?! Ведь это же, когда подумать... Как же это может быть? (Хоть я и сказал на физике Ирине Петровне, потому что она спросила:

— А вот интересно, как ты думаешь сам, Федякин, есть ли предел человеческой мысли?.. Вот вспомни открытие атома...

— Предела человеческой мысли...

— Ну-ну?

— ...есть.

— Что-что?

— Мысль есть... А предела ей, значит, конечно, нет.)

А ведь как же это может быть... Ведь это же себе

представить на секунду... Что получается из этого?.. Получается же ведь из этого страшное, невозможное дело!!! Кошмар... Я это просто отказываюсь себе представить категорически.

Вот со мной однажды произошел случай. Взял я тогда учебник и учил, учил, учил, учил, учил, учил, учил, учил, учил его. Все решил выучить, что надо было. Как есть все. Пообедал — и по-новой: учил, учил, учил, учил, учил, учил... А наутро у меня из головы почти все выскочило! О чем это говорит? О том, что голова меру знает. И предел тоже имеет. Как и все. И поэтому излишек все равно она всегда через череп пропустит. (Хотя я и сказал на биологии Татьяне Павловне, потому что она спросила:

— А скажи, Федякин, мне и всему классу, из чего состоит череп человека?

— Человека?..

— Да.

— Состоит?..

— Да.

— Из чего?..

— Да, да.

— Ка-анешна-а...

— Ну-ну?

— Из костей-ей, — хоть я и сказал.)



После русского

Вчера весь урок русского языка учительница нам частицу «не» объясняла. Даже не спрашивала никого. После этого у всех язык прямо заплетаться стал. Чего кто не скажет — обязательно это «не» противное влезает... Вот на собрании комсорг сказал:

— Нея бы... То есть я бы в токари пошел! А немы? Нея думаю, что каждый из ненас н... тоже, а?!

— Неконечно!—воскликнули все радостно.—Немы тоже! Непусть ненас научат! А немы с удовольствием! И все заговорили один за другим:

— Да немы! Да пусть ненас научат!

— Немы дадим за это невремя такую нестружку! Блестящую! Завивающуюся! Колечками! И очень недаже много!

...А вот сегодня на русском мы проходили частицу «бы». И она тоже стала все время влезать...

— Мы бы потом пойдем бы, конечно бы... — стали говорить.

— В токари бы...

— Если бы институтов бы не было бы...

Потому что язык у нас богатый.



*Из рассказов о жизни Виктора Д.,
желающего ее понять.*

Судьба-газировка

Отчего это, интересно, в жизни все получается так, а, скажем, не иначе? Или не как-нибудь еще по третьему? Вот, например, я. Жизнь у меня вообще хорошая, не лучше других. Но тоже ведь все выходит так, как выходит. И все. А почему? Непонятно.

Ну, в первый класс мать меня отвела, нас сфотографировали, школу я кончил, выпили мы по полстаканчика сухого, покурили и пошли, рассвет надо было встречать. Только до рассвета мы не дошли. Девчонки устали, мы тоже, пошли лучше домой спать, а то поздно уже все-таки было...

Утром просыпаюсь — голова болит. Хорошо еще,

думаю, хоть в школу сегодня не идти... Как не идти?! Минуточку, соображаю, я школу кончил, это что же, значит, теперь в вуз надо идти, ясное дело? Ясное дело. Тут и Нинка, Славка с Толиком, Наташка с Ленкой заходят, кричат в окно:

— Витька, выходи!

Я выхожу.

— А куда пойдем? — говорю.

— Как куда. В политехнический, наверное... Или в стоматологический...

— Привет, в стоматологический! — говорит Нинка. — Что в нем хорошего, лучше в энергетический. Там в «Снежинку» зайдём, мороженое с орехами! Вы что, давайте туда!

И мы поехали туда. Только вот не на том трамвае — не на тот почему-то сели... Все из-за Славки, остолопа. Я говорю:

— Нам на третьем!

А он орет:

— Да ты что! На третьем — в цирк, меня мама сколько раз туда возила. В «Снежинку» — на пятнадцатом!

Спорили-спорили, а девчонки вообще не знают. Едем на пятнадцатом — а он нас завозит неизвестно куда. На самый край. Вылезаем — поле. Посередине — дом. Смотрим — институт! Только не энергетический, а сельскохозяйственный...

— Во, пойдемте лучше сюда! — кричит Ленка. — Рядом — лес, будем в перемену гулять ходить! Может, где-нибудь рядом речка течет, пляж с песочком!

Заходим, а какой-то дядя, который там работает, говорит нам:

— Мы пока документы не принимаем. Обождите немного, в три часа придут с обеда.

А мы говорим:

— Ну и ладно.

И уходим. В другое место, что ль, нельзя отдать?

Едем обратно, Ленка говорит:

— Да ну вас, «Снежинка» сто раз закроется, пока мы тут болтаемся!

Приезжаем — она вообще закрыта на ремонт. Что делать?

— Давайте в энергетический-то зайдем по-быстро-му, отдадим документы, — говорит Славка. — Он же тут рядом...

— Да ну, — говорим. — Не успеем, что ль? Поедем пока в «Колобок», а то он тоже закроется!

Там работало. Посидели мы, потом поехали на троллейбусе в энергетический. Едем-едем, вдруг водитель говорит, что машина, оказывается, идет не туда, а в парк! Ничего себе, заявочка! Поехали в парк. Вылезаем — на парке объявление, кто требуется. Отдел кадров еще работал. Мы и устроились. Теперь в троллейбусном работаем. Тяжеловато, конечно, иногда. Я вот думаю, надо бы в трамвайный, что ль, перейти, он здесь недалеко. Все-таки там рельсы.

Родители нас, конечно, обругали. Как же так, мол, мы на вуз надеялись, а вы даже не испробовали, дурьи головы! Другие дети умные — не то что вы — знают, что делают! И все в пример Толика выставляют. Толик, сын умных родителей и сам не дурак, в хороший вуз устроился, теперь учится, нормальный студент. Нашел свою дорогу.

Толик ведь, когда мы троллейбуса ждали, газировки отошел попить. Вернулся, а мы уже уехали, нам ждать надоело. Он побегал, побегал, разозлился и пошел в другую сторону. Видит — там текстильный. Он и подал документы. Можно сказать, нашел свое призвание. И молодец. Дело все-таки нелегкое, не каждому дано.



О великих писателях

Иногда у знакомых зайдет речь о литературе, что есть хорошенького почитать. Некоторые удивляются: почему, дескать, раньше все-таки с писателями лучше было? Ведь как: Пушкин еще живой, а уже Лермонтов с Гоголем начинающие, Толстой жизненный материал про свое детство собирает. Тут Герцен, Тургенев, Достоевский — один за другим. Островский вот-вот первую крупную пьесу напишет, а через пятнадцать лет поставит. Салтыкова-Щедрина вот-вот скоро напечатают, а после посадят. Так и шли, как конвейер. Один помереть не успеет — следом уже другой: то великий, то гениальный, то основоположник, то зеркало.

Вот так.

А в наше время? Печатают тоннами. А ни одного великого. Только выдающиеся. Я в подобных случаях всегда так думал: а кто же его знает, писателя. Может, еще подрастет. Может, он еще только в пионерах бегает, металлолом собирает.

Но недавно я все понял. Я так рассуждал: а почему, скажем, вообще великие писатели бывают? Это ведь, если разобраться, чистая случайность.

Вот у нас был один офицер, у него была такая работа, что он часто по ночам дежурил. И поскольку ночь, луна, делать нечего и все такое, он стал писать стихи. Иногда у него даже так получалось:

*Спутанные локоны души
Частым гребнем памяти
Расчесывает ночь...*

А потом? А потом его перевели на другую работу, сугубо дневную — и все. Так человек и перестал писать. А ведь ничего не известно.

То есть? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, то же самое и Пушкин. Он стал писателем потому, что у него так обстоятельства сложились. А так вообще-то лю-

бой бы мог, ни один не хуже другого. Попадись, скажем, ему неудачные соседи — и был бы Пушкин деревообделочник. Или ревизор. (Тоже почетно, конечно.)

Он, разумеется, человек беспокойный, писатель, но ведь соседи есть соседи, им же без разницы. Я себе представил, как он ходит, задумавшись, у себя по квартире из кухни в комнату, создавая образы, а тут приходит соседка-скандалистка, да еще, может, в сопровождении двух городских, по заявлению. И говорят!

— Пушкин Александр Сергеевич здесь проживает? Попрошу документки.

— Он, он! — указывает пальцем соседка.

— А в чем дело, господа? — говорит Пушкин.

— Прекратите кричать по ночам регулярно, вот в чем! — высказывает, не выдержав, мерзавка-скандалистка. — Терпели, терпели — теперь хватит, все жильцы уже жалуются.

— Я не кричу, я стихи для себя...

— Тем более! По ночам спать надо, как все люди. Странности у вас какие — для себя стихи читать. И стульями прекратите двигать. Над вами стихи кричат для себя? Стульями двигают? Уж, наверно, нет!

— Они же стихов не пишут!

— Стихи — это ваше личное дело, — говорит городской, ознакомившись с документками, — а нормы общежития соблюдать положено. Все люди одинаковые, не один не хуже вашего. На вас поступила жалоба: мешаете гражданам под вами, шумите. Вам стучат, а вы не слышите. После двадцати трех часов постановки вслух читаете.

— Нигде на работе не числится, — вставляет скандалистка. — А третьего дня я у него в сетке сорок пять пустых бутылок насчитала — пошел сдавать. И половина — зеленые.

— Это же еще с позапрошлой масленицы!

— И смотрите за вашей кошкой, чтоб она не бегала где попало, тут у нас здоровые дети, — добавила соседка-мерзавка-скандалистка, и они ушли.

В этот день Пушкин, ясное дело, уже не мог ничего написать. И лишь ночью к нему залетела в форточку Муза, взяла за локоток: дескать, продолжай пьесу.

Он взмахнул рукой... но тут вдруг вспомнил: «После двадцати трех часов вслух постановки читаете!»

«А как же мне, если надо «Годунова»-то кончать, там ведь все довольно громко говорят!» — шепотом подумал Пушкин. Он вслушался в мертвую тишину, предвещавшую наступление лишь через восемь часов нового трудового дня, и написал на листе:

«Народ безмолвствует».

Часы показывали за двадцать три.



Телефонный разговор

— Привет, это я. Это ты? Ты сейчас здесь? Нет?.. А, здесь. Я так и понял. Ну как ты? Как у тебя все? Все ничего? Диск уже не заедает? И у меня тоже. Ты мне перед этим не звонил? Мне передали, что кто-то мне звонил, мужской голос, ничего не сказал. Я всем звоню — говорят, это не они. Это не ты?.. А чего это я тебе еще раньше звонил и у вас никто не подходил? Ты что, уходил куда-нибудь?.. А я — да, правильно, я уходил: сыну к деньрождению телефончик детский купил, игрушку — пусть поиграет... А потом чего это я тебе звонил и было занято? Наверно, я не туда попал... Ну-ка перезвони ты мне, я громкость звонка подрегулирую. Ага, так. А как там вчера-то все?.. Поздно все кончилось? Ты когда, после Витьки ушел? Или уже после Вальки, с этим, как его, привела-то она этого с собой... А кто после тебя оставался? Не знаешь,

что там после этого было?.. А сегодня чего делаешь? И я тоже еще не знаю... Позвони мне тогда, если тебе кто-нибудь позвонит. И я тебе позвоню, если мне кто-нибудь позвонит. Тебе этот не звонил сегодня — пять рублей который тебе должен до третьего?.. А ты ему? Ну-ка позвони. А после я ему тоже позвоню, он мне три должен до пятого. Ты мне тогда перезвони, когда с ним поговоришь, я ему до этого звонить не буду. Только ты не говори, что со мной разговаривал. А после созвонимся. Посмотрим, что он скажет. Ты сейчас один в комнате? А еще кто? Больше никого, и все? А когда придут? Я один, никто у меня не разговаривает. Это радио, первая программа. А последний номер «Футбол — хоккея» ты получил? И я не получил. Ну, скоро придет, наверно. Может быть, даже сегодня вечером. Или завтра утром... Ну, в крайнем случае, завтра вечером... Или послезавтра утром — крайний срок. Хотя, конечно, кто его знает. В общем, придем домой — созвонимся. Ты никуда не уходи, я тебе позвоню. И я никуда не уйду. Договорим тогда. Что у меня здесь, на работе? Как-нибудь в другой раз, старина, это не телефонный разговор.



А дальше что?

- Люськ, ну?!
- Что?
- Ну что было-то?
- Да ничего.
- Ну как ничего? Что было-то?
- Ну, встретились.
- Так. А дальше что?
- Он мне говорит: «Любви нет, есть одно влечение».
- А ты?
- А я ему: «Раз так, то и ладно».
- А он?
- А он посмотрел и говорит: «Ладно? Ну и ладно».
- Да что ты? А ты?
- А я ему говорю тогда: «Ну и хорошо».
- Точно. А он?
- А он говорит: «В кино-то пойдем?»
- Ого! А ты?
- А я: «Кому надо, тот и пойдет».
- И правильно!
- А он: «А тебе что же, не надо?»
- Вот гад!.. А ты?
- А я: «Это надо еще посмотреть, когда! Может, мне еще и не подойдет!»
- Молодец! А он что?
- А он говорит: «Когда-когда, в семнадцать двадцать пять у входа буду».
- Дурак какой, не понял ничего. А ты-то что? Неужели...
- Чего неужели-то? Я ему сказала: «Долго ждать придется».
- Ой, Люська... А он чего?

— А он расческу достал и говорит: «Не дольше, чем ты думаешь».

— А ты чего?

— А я ничего.

— Как ничего? Да ты что! То все, а то ничего! А он?

— Под окном стоит. А я к тебе забежала спросить, только скорей: он уже вторую сигарету кончает, а у него в пачке было три, — слушай, Нинк, ты Витьке-то чего дальше говорила?



Телевизор

С тех давних пор, как у меня дома появился телевизор, смотрел я телевизор.

Смотрел я передачи спортивные, литературные, развлекательные, сельскохозяйственные, лекции, погоду.

(В зависимости от того, что показывали.)

Почти каждый день смотрел я телевизор.

А телевизор смотрел на меня.

С тех давних пор, как он у меня дома появился, смотрел он на меня.

Смотрел он на меня в понедельник, вторник, среду и пятницу.

(В зависимости от того, какой день недели был.)

Почти каждый день смотрел на меня телевизор.

Очень ему было интересно.



Женский рассказ

Главное — купить. Не пропустить мимо, а купить: отдать деньги и взять себе. Не проворонить. Проворонишь — уже не будет. Только увидела, что есть, вон оно — сразу заняла очередь. Одну к прилавку, одну в кассу. Раньше, конечно, к прилавку, чтобы скорее выписать. Потому что может кончиться раньше, чем подойдешь. (Между прочим, чтобы не кончилось еще раньше, надо не просто стоять истуканом, а смотреть, чтоб никто из посторонних не подходил с другой стороны.)

Выписала — значит, оно, можно сказать, у тебя почти в руках. Никуда не денется. Смотри только, чтоб счет не вырвали. Или чтоб в толпе нечаянно не выскользнул — ищи потом!

Вылезла из толпы — теперь главное, чтоб денег хватило. Не хватит денег — придется уговаривать продавщицу отложить, подождать, не отдавать еще сорок минут, самое большее! (Если, конечно, ты не из другого города, чтобы купить, приехала.) В очереди сразу начнут выступать: что, мол, по правилам — полчаса, давайте выписывайте ее другим. Тут продавщица, пока ты улыбаешься ей и немногословно уговариваешь, незаметно, никого не слушая, отложит все-таки твое выписанное. И ты побежишь искать такси, полетишь домой за деньгами. Если и дома не будет, пойдешь занимать, унижаться, каждой объяснять, даже если не спросят, — где, что, почем. Каждая будет после этого еще сомневаться, думать: а может, не надо эти деньги тебе отдавать, может, лучше самой поехать взять?.. Все-таки потом даст. И тогда снова лететь, ловить такси, думать по дороге, не видя таксиста, успеешь ли, не отдали ли еще твое кому-нибудь из очереди: вон их сколько, охотниц, хоть отбавляй, только покажи, любая возьмет, хоть какое, хоть бракованное.

А уж когда деньги при себе — тогда и говорить нечего. Вставай в кассу, выбивай, иди на выдачу и получай. Приноси домой, разворачивай, надевай на себя. И потом в этом ходи. Потому что купила. Главное — купить.

Даже если купила, а тебе не подходит — все равно это не значит, что не надо было покупать. Ничего страшного. Да и как же было иначе: мерить-то не будешь, а то еще разберут, пока ты там раздумываешь. Так что это часто случается. Увидела, скорей выписала, пришла домой, а оно не подходит. Никак не лезет, того и гляди, где-нибудь треснет. Мало. Оно меньше, чем ты сама. Или больше. Намного больше. Никак не держится, сваливается, как ни верти. Но это ничего. Надо попробовать намочить — на сколько-то сядет. Или похудеть — сесть на диету. Можно отдать в ателье ушить. Или выпустить. Перекрасить. Продать потом всегда можно. Купила — тогда уже можешь быть спокойна. Потому что если не купишь, то у тебя не будет. А будет у другой.



Уж такой человек

Александр Иванович — очень приятный, веселый человек.

Утром всегда в одно и то же время, в половине восьмого, у него звонит будильник.

Но это (приятный и веселый) не потому.

Потом он встает, делает под радио зарядку, комплекс упражнений, и переходит к водным процедурам. И завтракает. Но это (приятный и веселый) — и не поэтому.

Потом он захлопывает дверь своей квартиры, подергивает ее за ручку, достает на первом этаже из большого ящика свою газету и отправляется на работу. Но это опять не потому.

А самое замечательное происходит в его внутреннем, так сказать, духовном мире.

Вот, скажем, придя на работу, сев за стол и обнажив перо авторучки, Александр Иванович посмотрит на него, повертит в пальцах и скажет:

— Все-таки как странно: никуда тебе макать не надо... Огромная разница!..

Или, посидев за текущей работой, заключит:

— А какие чудеса: раньше, бывало, на лошадях приходилось ездить — масса неудобств. А теперь, пожалуйста — автобус.

И ведь нельзя отказать ему в справедливости.

А например, перед самым обедом Александру Ивановичу вдруг вспомнится:

— И все-таки до чего удивительно!.. Раньше бывало: соберешься, возьмешь топор, пойдешь со своими на мамонта, еще вопрос — убьешь ли! А теперь — пожалуйста: постоишь в полуфабрикатах и возьмешь десяток хлебных котлет... И без костей.

Едет Александр Иванович в автобусе, наступит ему кто-нибудь на ногу и стоит так, чего не бывает.

«Ну что ж, — думает Александр Иванович. — Это ведь только до конечной, не дальше же... Конечно, не дальше, о чем может быть речь».

А вдруг окажется, что автобус этот без конечной? (Ну, например, кольцевой.) Но Александр Иванович этого не заметит: кто-кто, только не он. У него мысли исключительно приятные.



Газон

Однажды в одном городе со всех газонов (а они там действительно были) исчезли таблички следующего содержания: «По газонам не ходить!»

Так газоны и были, без табличек.

Вот такое же чувство бывает, когда вырвут какой-либо важный зуб во рту, и тычешь в пустое место непривыкшим к зиянию и затихшим от удивления языком. Или когда вдруг не станет в углу стоявшего там тридцать лет скрипучего дубового буфета, который все видели не глядя и об который все тысячу раз ударились.

Хуже всего это отвратительное чувство непривычности!

(Уж лучше бы зуб болел и буфет стоял старый...)

И кто-то, посмотрев на газоны, сказал:

— Что же это такое?.. Стоят газоны...

— Ну и?.. — спросил я.

— А табличек на них нет. Что же это получается, газоны... без табличек?!

— Простите, а на что они вам? — спросил я.

— Мне?

— Да. Вы что, на газон без них пойдете?

— Нет-нет!

— А зачем тогда?

— Ну... Чтобы уж точно не ходить.



Моя замечательная способность

О господи, зачем существуют на свете бок левый и бок правый и в особенности бок левый, на который хочется перевернуться, когда лежишь на правом, а также

бок правый, на который хочется перевернуться, когда лежишь на боку левом? Зачем?! Ведь можно было бы спать и ни о чем таком совершенно не думать, а видеть, как всякий нормальный взрослый человек, прекрасные сны, невообразимые по своей глупости. А вот лежишь в этой идиотской ситуации, когда обязан мыслить на разные темы из своей жизни, цепляющиеся одна за другую и не имеющие никакого конца, в том числе о том, что ты никак не можешь заснуть, черт побери!.. «Сейчас усну. Ага... вот сейчас вот... Нет — тогда было еще нет, а в этом месте уже точно...» — а сам никак. **ДО-СИХ-ПОР-ЕЩЕ-НЕ-ЗАСНУЛ**, лежишь и думаешь! И думаешь!!!

Что делать?

С одним знакомым разговорился, а у него таких проблем и нет.

— Ведь ты что, — говорит, — надумался за день-то где придется, тебя и тянет по привычке. Вот сегодня ляжешь — и уж не думай. Тебе, может, на ум белый медведь придет, а ты не думай о нем...

— Как это?.. — говорю я. — Чего не думать?

— Откуда я знаю! Это уж тебе лучше известно, что ты можешь про него не думать.

— А почему о белом?

— Правильно: а после о буре — неважно, откуда начинать. Главное — не думать ни о чем. Чем про большее количество не будешь думать, тем скорее и заснешь, верняк.

Послушал я это — довольно странно, но ведь чем черт не шутит, разные бывают способы.

Лег вечером в постель — и тут вспоминаю: белый медведь. «Ага, — удерживаюсь, — буду про него сейчас не думать». Представляю себе. Белый такой, живой, смотрит, головой крутит... И вот его как бы нет: о чем думать, раз его нет? Вот я и не думаю. Очень хорошо.

Не думая о медведе, быстренько перешел к другим животным и стал успешно не думать обо всех видах, какие еще по школе помнил. (Раков мы в детстве, бывало, целыми днями в деревне ловили, и мне все представлялось, как они топорщат на траве усами... Так что с ними вообще легко было.)

Потом растения. (А про белого медведя не забываю не думать.) Когда уже о нашем завхозе Иване Кузьмиче не думал (особенно о его фиолетовом носе), глаза были какие-то тяжелые... и в голове все как в вате...

Просыпаюсь — другой человек! Открываю форточку, напеваю полюбившуюся песенку, вдыхаю влетевший с улицы ветерок. Чем плохо? Нет, хорошо.

С тех пор раз в день, перед сном, стал на самые различные темы из науки и техники, литературы и искусства, физкультуры и спорта не думать. Как не подумаю о том о сем — уже сплю.

Утром на работу еду, а сам о чем-нибудь для тренировки все время не думаю. Мало ли о чем. У каждого ведь свои излюбленные темы, на которые он обычно не думает.

На работе подходят: «Александр Иванович!!! Пять — до зарплаты: позарез!» Раньше стал бы думать, вычислять, с кого получу, кому самому отдавать, а теперь как он сказал — так я про эти его пять и не подумал. И про позарез. Сплю. С открытыми глазами, конечно: как бы на него смотрю, задумался.

Жена говорит:

— Ты обо мне совсем не думаешь!

— Не мешай, — говорю, — я обо всем не думаю, не о тебе одной.

А обо всем не думать — не щи лаптем хлебать. Жизнь не стоит на месте, каждый день приносит что-то новое: например, сын десять двоек в дневнике принес. Значит, теперь и об этом не надо думать, а как

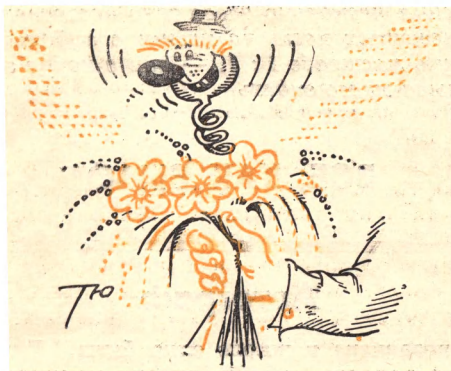
же. А ведь к каждой вещи нужен свой подход: то есть, КАК о ней не думать! Некоторые так просто не возьмешь, как медведя, — дескать, нету его, и привет. С тем же сыном: тут можно перекинуться на его учебу в первом классе, на его тогдашние успехи по физкультуре. И так далее...

Чтобы не пропустить какую-нибудь новую вещь, появившуюся в мире, — о которой тоже не думать, — стал следить за новинками, открытиями, изобретениями.

И однажды дело так вышло. Только я перед сном кончил о последней вещи не думать, гляжу, а уже светает! На будильник посмотрел — скоро зазвенит. Нажал я на него, встал и пошел на работу.

Иду и думаю: «Что ж делать? Начинать, что ль, пораньше не думать, еще днем? Или надо что-то сократить. Выделить самое главное, о чем не думать, второстепенное отбросить. Нельзя ведь сразу о стольком! Не под силу это одному человеку».





Любить жизнь — значит быть честным. Кто знает, что прекраснее жизни ничего нет, тот не будет ее приукрашивать, подрисовывать, подделывать.

Быть честным — значит верить другим. «Единожды совравши, кто тебе поверит!» — установил Козьма Прутков.

Нечестность — это не просто один из вариантов отражения действительности, это такое «творческое ее переосмысление». Неправда — не разновидность шутки. В природе нет неправды. Если бы наш глаз, наше ухо, наши пальцы не говорили нам всей правды о том, что они видят, слышат, чувствуют, мы бы погибли под первым автомобилем! Так же страшна неправда и в отношениях между людьми. Она убивает дружбу, любовь, совесть, достоинство, дело — все самое лучшее, самое важное.

«А как сам автор? — спросит кто-нибудь. — Он же в своих рассказах только и делает, что выдумывает!» Поэтому мы решили в виде эксперимента представить

для сравнения несколько абсолютно достоверных историй, перенесенных нами из жизни в художественную литературу в масштабе 1 : 1, — они в конце этого раздела, призывающего видеть

ВСЕ, КАК БЫЛО

Автограф

У нас позавчера в школе елка была. Елка была большая, до потолка, и везде висели снежинки на ниточках.

А мы и 1-й «А» были все в разных костюмах. И были, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

Дед Мороз сказал, что если мы хорошенько елочку попросим, то елочка зажжется. Мы крикнули два раза, она не зажигается. Тут я увидел в углу сцены Анастасию Степановну, она за спиной что-то там втыкала. А мы уже третий раз кричали: «Е-елочка, зажги-ись!» Наконец, Анастасия Степановна попала, и тут елочка зажглась.

Потом мы стали с Дедом Морозом ходить вокруг елки и петь разные там песни. А я тогда в Деда Мороза еще верил и думаю: «Как же это он успевает на всех елках побывать? Вон у Кольки из соседней школы сегодня тоже в десять часов елка! Он, что ли, на мелкие кусочки разлетается, и потом из каждого новый Дед Мороз вырастает?..»

Потом Анастасия Степановна всем, кто раньше деньги сдавал, из ящика доставала подарки.

А потом я подумал: «А почему у Деда Мороза никто автографа не берет, он же такой человек великий

и известный, как Пушкин! (Я еще тогда в Деда Мороза верил.) Вот, — думаю, — возьму у него автограф, и ни у кого такого не будет».

Подошел к нему и попросил.

— Нечего тут приставать. Нету у меня ничего. — Мне это Дед Мороз сказал, — снаружи-то он был как Дед Мороз, а внутри это был дядя Вася, наш завхоз. Я его потому что по голосу узнал, ни у кого нет такого голоса — хриплого.

Мне стало обидно, что все, оказывается, такое простое и ненастоящее и...

Тогда я перестал в Деда Мороза верить... А в Снегурочку верю, потому что это наша соседка через квартиру Оксана.



Такая игра

Сначала получалось неудачно у меня.

Приходит вечером ко мне Петька и говорит:

— Коля, выходи.

— А чего делать? — спрашиваю я.

— Как чего. На чердак полезем. Ракету из пленки запустим. В водосточную трубу с крыши. Дымиться будет.

— А уроки? — спрашиваю я у Петьки, чтобы узнать, как он ответит.

— А завтра устные, ты что! — говорит Петька, и я вскакиваю:

— Пойдем!

— Никуда ты не пойдешь, — говорит мать. — Будешь телевизор весь вечер смотреть. Да вы что — ракету из пленки в водосточную трубу, с дымом!

— А что такого? — говорю я, потому что я думаю, что ничего такого. Она же не взрывается.

— Как что такого? Как это что такого? — говорит мать. — А если... в водосточной трубе кошка? Да еще с котятами? Никуда ты не пойдешь. И тебе, Петя, тоже лучше было бы о другом подумать. На родительском собрании Ирина Степановна, между прочим, говорила твоей маме при всех, как ты учишься.

Так я и остался. Я же говорю, неудачно получалось.

Утром прихожу в школу, а Петька сразу говорит:

— Я придумал! У меня идея. Шифр придумаем, и все. Код. Чтобы они ничего не понимали. А то нужно что-нибудь сказать, а они понимают как есть. Лучше пускай они вообще ничего не понимают, а мы будем делать, что хотим.

— А какой код? — спросил я.

— Надо все придумать. Вместо «выходи гулять» говоришь: «Почему скелет на зоологии сегодня в углу стоял?» Отзыв: «Он всегда там стоит». Значит: «Погоди, сейчас иду».

— Точно! Вместо «Мяч бери» — «Химичка сегодня была злая». А вместо «Спортзал открыт» — «Главное, ребята, сердцем не стареть». Ура!

Мы даже отметки закодировали: прибавлять на один — чтобы при родителях можно было спокойно сообщать, что получил! И в то же время не сообщать!

Петька приходит ко мне. Не успеет еще сказать про скелет, а я уже кричу:

— Он всегда там стоит!!

— Ну, тогда химичка сегодня была злая! — радуется Петька. — Сейчас ведь еще немного, и, главное, ребята, сердцем не стареть — ты что, забыл?

Я все понимаю, беру мяч, и мы выскакиваем на улицу — пока родители соображают. А мы радуемся, потому что уже бежим в спортзал. Значит, не зря мы придумали этот код.

Мы стали этот код применять. Мы стали не вылезать из спортзала и вообще не вылезать, откуда хотим. (А учиться стали на балл хуже.)

Но однажды Петька приходит, отец и мать уже дома, смотрят за мной, что я буду делать. Он говорит:

— Главное, ребята, сердцем не стареть!

И глядит на меня.

А мать это слышит и говорит сразу:

— Отец, этим летом бананы что-то с гнильцой...

Папаянэ это слышит, идет в коридор и берет мяч. А потом несет к себе и кладет под стол.

Петька растерянно смотрит на меня и говорит про скелет, а мать вдруг отвечает вместо меня:

— Никогда он там не стоит!! Будешь телевизор весь вечер смотреть. И ты, Петя, тоже лучше бы свою тройку старался исправить, пока из-за нее на второй год не остался. Не на одни ведь шестерки учишься, чтоб только о скелете думать!

«Ничего себе! — подумали мы. — Что, они поняли наш код? А может... знают его уже давно? Как же тогда быть?.. Но не говорить же по-старому, — все, как есть! Лучше-то ведь нам тогда все равно не будет!»

Так мы с ними и играем.



Все, как было

1

Папа сказал, что пойдет к Александру Петровичу, а сам пошел к дяде Васе.

Мама сказала, что ей надо гладить белье, а сама пошла в свою комнату глядеть на себя, какое у нее удачное платье.

Вова сказал, что ушел на дополнительные занятия по русскому языку, а сам пошел к Сережке курить.

Кошка Муська, оставшись на кухне одна, выпила молоко из своего зеленого блюдца, а потом еще взяла и котлетку со сковородки...

2

Но еще до этого сантехник дядя Вася сказал в квартире, где протекает труба, что на замену такая вряд ли найдется, а сам ее уже в кармане принес. Так что сейчас у него были три рубля.

Вовина учительница еще днем сказала в школе, что систематически проводит дополнительные занятия по русскому языку, и теперь могла со спокойной совестью позвонить Александру Петровичу.

Александр Петрович ответил учительнице, что, к сожалению, вынужден срочно уйти в баню, а сам позвонил Вовиной маме. И они пошли в кино.

Дядя Вася сказал, что будет у Вовино папы телевизор смотреть, а сам пошел с ним в магазин.

Вовиной маме фильм показался так себе, а она сказала Александру Петровичу, что очень. И хорошо посмотрела на него...

3

И все бы, разумеется, конечно, ничего, но Вовина мама, спеша успеть встретиться с Александром Петровичем, забыла потушить газ под кастрюлей.

И к тому же так получилось, что Вова с Сережкой вышли с сигаретками на балкон, думая, что во дворе девчонки, но увидели папу с дядей Васей (которые на самом-то деле шли в магазин, а Вове с Сережкой показалось, что они смотрят куда-то вверх). Вова с Се-

режкой побросали сигаретки и убежали курить на чердак, как будто их дома и не было.

Балкон пятой квартиры, где они курили, загорелся.

При этом в седьмой квартире, где дядя Вася днем вынул хороший кусок трубы, чтобы поставить его в другую квартиру, а этот заменил дрянным, хлынула вода.

К тому же кошка Муська, пробегая за второй котлеткой, опрокинула кастрюлю, бульон залил пламя, и газ стал наполнять четвертую квартиру. (Грозя еще кой-чем, если огонь с соседнего балкона перекинется.)

Вова с Сережкой, бегая на чердаке, оборвали телефонный провод, и невозможно стало позвонить 01, 04 и 03.

Что же касается Вовинога папы с дядей Васей, то они вошли в магазин и тут увидели, что у них на бутылку не хватает...

4

Тем временем Вовина учительница подумала, что Александр Петрович, вероятно, уже вернулся из бани. Она позвонила в его дверь, но ей никто не открыл. Сюда же кинулись соседи, чтобы перекрыть воду, которая хлестала этажом ниже, но учительница им объяснила, что, к сожалению, Александр Петрович в бане. Только и удалось, что вызвать по ближайшему телефону-автомату пожарную команду.

Все стали бегать, шуметь, говорить. Предлагать варианты: как, мол, все поправить.

Но как?!

5

А в это время в четвертой квартире соседка тетя Тоня (которая сказала, что уйдет к тете Моте, а сама осталась послушать, как Вовка будет озорничать) в ти-

шине (поскольку все исчезли) от скуки заснула, теперь проснулась и почуяла запах газа. И выключила.

Вода, хлеставшая в седьмой квартире, полилась с балкона на нижний этаж и погасила огонь.

Продавщица в магазине, хотя и говорила, что маленьких нету, дяде Васе все-таки дала, так как его знала.

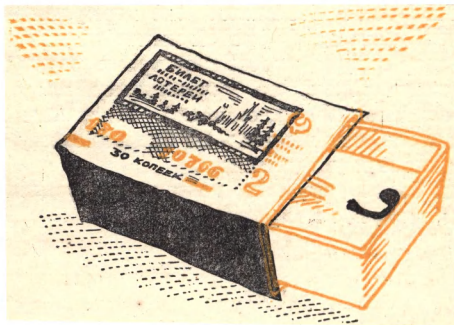
А Александр Петрович и Вовина мама (которые на самом деле были у него в квартире, но, увидев в окно учительницу, не открыли дверь) услышали разговоры и перекрыли вскоре у себя вентиль.

Так что пожарная команда, приехав на место, с удовольствием увидела, что здесь обошлись своими силами.

И все кончилось как нельзя лучше.

6

А потом все разошлись по домам и легли спать.



1. Свитер из Парижа

Дело было так. Один знакомый наконец поехал во Францию. Достал путевку, все оформил, все собрал, купил билет и в составе делегации поехал. Проехал 2540 километров и на вторые сутки увидел город Париж.

Ну, я опускаю описание Парижа... А наш знакомый ходил по Парижу и, естественно, заходил в магазины и даже не в один. Он взял с собой туда консервы, супы в пакетиках, чтобы в Париже на еду деньги зря не тратить, а купить лучше что-нибудь из заграничной одежды, кому что. Что жене, что детям, что родственникам, что кое-каким очень близким знакомым, что себе — чтобы не зря ездил, чтобы приехал, надел, и сразу было видно, что был за границей.

И вот идет он один раз по Парижу с сумкой. Что-то уже купил, но смотрит еще, что купить. И вдруг он видит: возле одного магазина стоит очередь. В Париже! Знакомый, конечно, тут же кидается туда и на французском языке спрашивает:

— Кто крайний?

Стоит в очереди за monsieur в узких подтяжках и радуется: «Как же мне повезло — в Париже, да еще что-то дефицитное выбросили, это уже получается Париж в квадрате! Наверное, у них конец квартала — мне просто очень повезло!»

И он играючи выстоял во французской очереди и купил понравившийся свитер, очень, действительно, красивый, и решил, что будет, конечно, его сам носить, да и то не все время. И весьма довольный, конечно, вернулся в Москву.

И вот он надел этот свитер! Все в отделе сразу об-

ратили внимание, что он надел этот свитер. Очень одобрили, а знакомый рассказывал, как он в Париже совершенно случайно его оторвал, и все его очень хвалили, особенно женщины.

А одному так сильно понравился этот свитер, что он даже упросил знакомого на себе его померить. Он надел свитер, покрасовался в нем, назначил в свитере свидание, а когда стал осторожно через голову снимать, то где-то в углу увидел ярлычок. На ярлычке совершенно иностранными буквами написано: «made in USSR».

У знакомого, бывшего во Франции, конечно, глаза на лоб, полное расстройство, и все такое. Он стал ругаться, что его накололи, проклятый Париж, одно название. И так далее.

Но потом он с трудом пришел в себя и тому следопыту говорит:

— Я тебе дал поносить?

— Дал, — говорит тот.

— А ты теперь никому не говори, что видел.

И он отпарывает ярлычок, надевает снова свитер и ходит в нем. Как говорится, се ля ви.



2. Знакомство

Я помню чудное мгновенье.

(А. С. Пушкин)

Однажды была хорошая погода.

В этот чудесный июльский день, когда не было на душе никаких неприятностей, я неплохо пообедал у своего приятеля под милую музыку, светило солнце, но было нежарко.

И, уходя от приятеля, сделав добрый дружественный жест, я сказал:

— Слушай, может, искупаться съездим?

— А куда?

— В Водники, — сказал я поконкретней.

— Нет, что-то не хочется... — сказал он, поколебавшись, и мы не поехали.

Я вышел на лестничную площадку.

И тут я увидел девушку, которая как раз в этот момент тоже выходила из квартиры напротив, чуть улыбаясь. Ее глаза взглянули на меня со вниманием. И я взглянул на нее со вниманием.

Так было в первую секунду. Потом все пошло, как будто ничего не было. И она стала спускаться вниз, за нею я.

Мы вышли из подъезда и случайно направились в одну сторону. И дальше она тоже шла все время туда, куда нужно было мне. Светило солнце. Она была очень ничего. У нее были все данные, и что-то еще в ней было такое приятное, что трудно сказать. В общем, вы меня понимаете.

Я иду один, она идет одна, она не спешит, я не спешу, и погода хорошая.

Мне нужно на остановку троллейбуса. Тут я вижу, что она тоже дошла до остановки и остановилась! Я, конечно, обалдеваю. И влезаю с ней в подошедший троллейбус. И у меня начинают вертеться слова из песенки — подходящие к нашей ситуации в жизни: «Мне почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется».

Тут я, наконец, выпалил:

— Не бросайте мелочь, хорошо?

— Хорошо, — сказала она и улыбнулась. И не бросила.

Мы оторвали билеты и стали смотреть, куда сесть. Было свободно только одно сиденье целиком. Нам ни-

чего не оставалось, как идти к нему. «Я буду идиотом, если я с ней сегодня не познакомлюсь», — думаю я. И я прав.

Мы сидим рядом, я чувствую, что я ей тоже интересен, в конце концов ехать молча просто скучнее.

Она сидит и смотрит все время в окошко, как будто вовсе ничего нет. (А на самом-то деле это просто неизвестно!) Я смотрю в окошко, а нередко вижу ее и думаю, что сказать, хотя это все равно. Но так все время ничего и не говорю. Как-то боюсь по глупости, что она вдруг скажет: «Да вы что?»

Она тряхнула волосами, и мне понравилось, как она тряхнула волосами. Мне все в ней нравится. «Так бывает очень редко, когда все нравится. Невозможно пропустить! И зачем пропускать, почему? Я, конечно, проеду свою остановку, — решаю я, — пойду ее провожать, и тут мы познакомимся!»

Мы подъезжаем к той остановке, на которой мне надо было бы сходить, но тут она сама встает! Я, естественно, тоже поднимаюсь в волнении и выхожу с ней — направо, к ателье. И почему-то решаю — наверно, для передышки: «Забегу все-таки в ателье, ее потом догоню, пока придумаю, как ей сказать».

Я захожу в ателье, но мне говорят, что мастер болен. Тогда я выскакиваю на улицу, и прямо перед входом вижу ее. Она идет в ателье, но уже с батоном в руке. Значит, зашла в булочную, а теперь возвращается. И опять передо мной встает мое знакомство.

Мы удивленно смотрим друг на друга, к тому же почти как старые знакомые, и думаем как-то одно и то же. И вот я иду почти рядом с ней. Она чувствует, конечно, что я не просто иду, а иду за ней, и стала как-то особенно внимательно идти, смотреть по сторонам, даже немного улыбаться (наверное, моей нерешительности) и вертеть головой и сорвала листик с дерева, хотя ей было не очень удобно.

«Ну что ж ты, идиот, — спрашиваю я у себя. — Сейчас придумаю первую фразу, и все».

Но зачем придумывать первую фразу? Подумаешь, какое дело — познакомиться! Все люди должны постоянно между собой знакомиться! Приходить и говорить свое имя, что еще нужно? Им будет скучно и не радостно друг без друга. И я решаю: «Хватит, что за пошлая ерунда, ты что?»

Мое сердце бьется. Я подхожу и говорю:

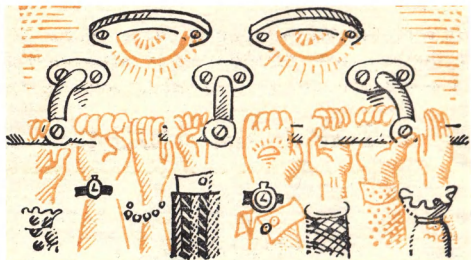
— Девушка, простите, здравствуйте!..

Она поворачивается, меняется, делая вид, что я ей неинтересен так, как вообще ей из всего населения кто-нибудь может быть неинтересен, мрачно и подозрительно смотрит на меня и говорит:

— Что вам от меня нужно?..

И я ухожу.





Очень важно быть человеком, знающим свою индивидуальность. Очень важно знать самого себя.

Но познать себя невозможно, если ты невнимателен к другим людям, не стараешься понять и познать их. Да и будет ли хоть малейший смысл в твоих успехах, если они не направлены на других людей, им не нужны? Ни малейшего.

Стало быть, люди, которые вокруг нас, так же важны нам, как и мы сами.

Близкие нам люди — это наши родственники, наши друзья. Это люди, без которых мы бы не были самими собой, благодаря которым мы сильнее, умнее, радостнее. Даже если у тебя и без их помощи все прекрасно — что может быть грустнее радости, которую ты испытываешь один!

Но близкие нам люди — это и те, кто живет у нас за стенкой, с кем мы бок о бок каждый день ездим в автобусе, просто ходим по улице. Они близки нам по-другому, но они тоже играют немалую роль в нашей жизни. Сами знаете — от того, как к вам относятся люди даже на улице, немало зависит ваше настроение. Значит, и для них тоже важно, как к ним относитесь вы. Это вообще основной закон справедливости: не делать по отношению к другому ничего такого, чего бы ты не хотел испытать по отношению к себе.

Нет ничего ближе человеку, чем люди. И тем лучше будет всем, чем про большее количество людей каждый сможет сказать: для меня эти люди —

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Трамвай

Все-таки это очень удивительно — сознавать, что все на свете является случайным, как ни верти! Случайно мы с вами мужчины, а не женщины. Случайно мы родились сейчас, а не в Древней Греции. Случайно я записал эту мысль, чтобы не забыть. Случайно ее напечатали. Случайно я купил недавно отличные джинсы. Не хватает порой и других товаров.

Но что значит не хватает? Все ведь учесть надо! Вот недавно один знакомый возмущался. «Что такое! — говорит. — Гаечного ключа на двадцать четыре второй год найти не могу! Мопеды выпускаем, а каких-то, черт бы их побрал, гаечных ключей вдоволь наделать не можем!»

Обратите внимание, это все только ему так просто, с его точки зрения! А на самом деле? Да, одно время было такое положение, что в любой магазин пришел — и бери какой хочешь гаечный ключ хоть мешками. И что же? У нас как раз тогда произошел на эту тему один случай. Действительный случай, ничего не придумано. Случай такой.

Надо сказать, раньше в Москве новые квартиры получали не в таком масштабе, как сейчас. В больших коммуналках жили, и разные люди при общей кухне десятилетиями жили плечом к плечу. У них случались и натянутые отношения. Но не всегда! Скука не тетка (телевизоров-то ведь почти не было!), а правила

игры лото вынуждали соседей считать друг друга на мгновение партнерами. Собирались у кого-нибудь в комнате и играли. Кроме, разумеется, детей — цветов жизни. Они в лото не участвовали, а просто так бегали.

И однажды Санька-индеец, он тогда еще был пацаном, в извилистом Божедомском переулке (теперь-то это Делегатская улица), по которому у нас ходил трамвай «Аннушка», бегал с большим гаечным ключом, примерно на двадцать четыре. Бегал он с ним, бегал, а потом взял и вложил его плашмя в трамвайный рельс. Разве это хорошо?

И главное, он сунул его и даже посмотреть не стал, а просто убежал. Ну ладно еще, он бы положил, чтобы посмотреть, это еще понятно. А он убежал и забыл.

А в одной из квартир в это время горел свет. Соседи собрались и играли в лото... Горит желто-лиловый абажур, освещая в комнате только стол, вокруг стола сидят все, смотрят на свои карточки, затаив дыхание, здесь единство и даже тайная любовь, в левой руке у всех фишки, и кто-то «выкликает» — барахтает в мешке бочонки, вынимая по одному: «Дед!», «Семен Семенович!», «Тридцать три!» И на кону лежат копейки. Раздаются веселые реплики на темы игры, но не подряд. И время самое «вкусное» — часов восемь вечера. Только сели... Тихо. Лишь трамвай за окном проскрипит на повороте, да вскрикнет бегающий мальчишка... Сейчас, наверное, кто-нибудь вдруг радостно скажет: «Квартира!»

И тут представьте себе такую картину.

Выкликающий как ни в чем не бывало залез рукой в мешок... Все сидят...

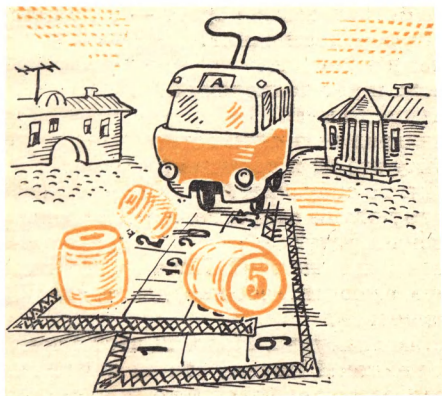
Вот он невзначай поднимает голову и в ужасе видит, как гардероб, который стоит у стены, едет прямо на него, сейчас просто припрет! Что делать?

Тут гардероб, к счастью, подается вбок, но из-за него показывается красное — огромная морда трамвая!

В трамвае сидит вагоновожатый, который удивленно смотрит на руку выкликающего в каком-то мешке и на какую-то еще игру. И сзади, за ним, прибывшие пассажиры, оказавшиеся невольно в комнате и смотрящие, куда они заехали. Все, признаться, удивлены (немая сцена). Только ветерок, способный долетать теперь непосредственно с улицы, колышет бахрому желто-лилового абажура. И только шуршит осыпающаяся штукатурка старого деревянного дома, который оказался на повороте трамвайной линии и пострадал по вине дурака Саньки.

Кто-то потом сказал: «Нужно было бы ему этим самым ключом!» И правильно бы сделал.

И вот, представьте, я слышу, как кто-то — и не кто-то, а мой приятель — говорит, что якобы мало выпускают гаечных ключей! Сначала надо подумать, а потом говорить!



Почему не летим?

- Будьте добры, скажите, пожалуйста.
 - Ну.
 - Как найти командира?
 - Какого командира?
 - Рейса Минск — Ленинград.
 - Зачем?
 - Узнать насчет рейса.
 - А что вам насчет рейса узнавать.
 - Так вы командир или не вы?
 - Ну я...
 - Скажите, пожалуйста, почему мы до сих пор не летим?
 - Можно будет — и полетим.
 - А что такое?
 - Я же сказал, можно будет — и полетим.
 - А что, аэродром занят?
 - Почему это занят?
 - Дорожки нет подходящей?
 - Почему это нет?
 - Ленинград не принимает?
 - Почему это не принимает?
 - Минск не отпускает?
 - Почему это не отпускает?
 - Ливень между?
 - Почему это между? Почему это ливень?
 - А что, самолет... что-нибудь... того?
 - Чего «того»?
 - Ну... что-нибудь... Мало ли что? Сломался?
 - Как это так?! Почему это он должен сломаться?
 - А что, совсем самолетов не дают?
 - Почему это не дают?
 - А может, вы себя сами плохо почувствовали?
- С каждым ведь бывает, чего уж там...

— Почему это я себя плохо почувствовал?

— А в чем же дело? Почему до сих пор не летим?

— Да вот... Дикторша объявила в зале, что рейс откладывается...



Что греха таить...

Я заметил за своим соседом, что у него одно ухо примерно на десять сантиметров выше другого.

Ну, как-то так повернулся он ко мне анфас раз, другой, третий, и стал я за ним эту особенность-то замечать.

Я совсем уже было собрался ему про это дело сказать (возможно, вспомнив известную поговорку, что не видать, дескать, как своих ушей), как мне один знакомый говорит:

— Не, — говорит, — ни в коем случае. Ты этого не скажешь.

— То есть как это не скажу? Это мой долг! Человек столько лет живет и не знает, как он живет. А ты говоришь, не скажу. Обязательно скажу.

— Ничего подобного.

— Что «ничего подобного»?

— Ничего. Откуда это ты взял, интересно, что это твой долг? Это совершенно твой не долг! Как раз наоборот. Твой долг — сказать человеку, что у него совершенно симпатичные, нормальные уши. И даже, если потребуется, — симметричные, как Большой театр.

— Зачем?

— Чтобы он не думал.

- Что «не думал»?
- Что у него вот это.
- Но ведь у него же действительно это!
- Ну и что?

— Как «ну и что»? Как «ну и что»? Он должен срочно что-то сделать, чтобы это изменить!

— Дело не в этом. Говорить ему это нельзя. Уши у него, конечно, не совсем чтобы того... Не очень красивые... Прямо скажем. Но это ведь ни о чем не говорит! Ну, можно в крайнем случае сказать ему, что у него случайно одно ухо временно опустилось на два сантиметра ниже другого. А то и меньше... Но так — ни в коем случае!

Долгое время я ходил и все порывался сказать соседу про его уши. Он мне говорит что-нибудь, а я уж и слушать-то спокойно не могу, все меня на его ухо тянет взглянуть, тянет и тянет. «Ну как же так, — думаю я. — Ведь это надо же!» И все гляжу на его ухо. И как-то мне даже неудобно становится, когда он заметит мой взгляд. Посмотрю, а потом опущу глаза и гляжу на другое.

Но наконец, по прошествии немалого времени, получил я какое-то этакое право — моральное, что ли, а может, и нет — соседу все выложить. Как есть.

— Вы знаете... — говорю я ему однажды. — У вас уши-то — прямо скажу. Не очень-то ровно расположены... Да что там не очень, одно выше другого — на десять сантиметров.

— Да что вы говорите! — сказал он. И вдруг добавил: — Ну и что из этого?

И лечиться отказался наотрез.



Встреча двух выпускников средней школы, проболтавших десять лет на одной парте, в одном классе, возле одного и того же кактуса, и не видевшихся много лет, случайно на станции метро во время пересадки

- Привет!
- О! Привет!
- Ты?!!
- Я!! И ты?!!
- И!!! Ну как?!!
- А ты как?!!
- Не женился?!!
- Не женился! Кто-нибудь женился?!!
- Никто не женился!
- А кто-нибудь родился?!!
- Никто не родился!
- Ну надо же — ты!!
- И ты, надо же!!
- Ну пока!!!
- Ага.



Машинка

Я сидел у раскрытого по причине лета окна и печатал по причине вдохновения на машинке. Под окном остановился пожилой гражданин и некоторое время наблюдал за мной. Наконец он сказал:

— Чего это ты стучишь?

— Видите ли, — отвечал я, — я писатель.

— Ну и что, что ты писатель? — сказал гражданин. — Ежели ты писатель, так тебе и стучать можно?

— Видите ли, — отвечал я, — дело в том, что пишущие машинки при работе стучат.

— Ну и что, что стучат? А ты не стучи. Ежели все будут писатели и будут стучать на машинках, что получится? А? Ну вот видишь... — сказал гражданин, уверенный в том, что его вывод — сама логика. — Так что кончай стучать. Слушай, а что ты пишешь?

— Я? Рассказ.

— Так-так... Слушай, а у тебя квартплата за июнь уплочена?

— Да.

— Та-ак... Вот что, ты давай подстели чего под машинку. От твоего стука кругом шум стоит.

— Хорошо, я сейчас под нее одеяло подложу, если она вам так мешает.

— Подложил? Ну-ка постучи. Нет, все равно стучит. Ничего у нас не вышло. Так что кончай стучать. Кончай, что ль. Я тебе говорю, кончай стучать.

— А что ты, собственно... Я же вам в конце концов не мешаю.

— А ты мне не тычь! Понял! А то я общественность позову. Она тебя враз отучит рассказы стучать.

И машинку твою поганую разнесет. Чтоб не стучал. А то, видите ли, он стучать хочет. Так что прекрати. А то ведь, смотри, быстро достучися!..

Вдруг все стихло. Я выглянул в окно и увидел уже его спину: у игроков в домино освободилось одно место, и он пошел к ним.



Хулиган

Все-таки, до чего же хулиганы — отвратительная часть нашего общества. Их еще приходится из всех сил выжигать каленым железом вместе с бюрократа-

ми, хапугами, пьяницами, тунеядцами и бандитами. Я бы даже еще покрепче законы для них сделал, чтоб этой гадиной у нас вообще не пахло.

Вот совсем недавно был возмутительный случай.

Стою я в книжном магазине, по полкам смотрю, тут еще несколько человек покупателей. Время уже перед закрытием. Продащица за прилавком щелкает на счетах, чеки считает. Тут открывается дверь, и входит в магазин гражданин, довольно интеллигентного вида. (Я потом у него поинтересовался, я спрашиваю: «Ты что, получку, что ли, сегодня хотя бы получил?» Он говорит: «Нет».) Так вот, входит этот гражданин и смотрит в магазине своими мутными глазами. Тут он замечает за прилавком продавщицу, считающую чеки, и говорит ей:

— Скажите, девушка, пожалуйста, — говорит он, — сколько стоит этот томик?

Такую совершенно бессмысленную фразу.

Она, конечно, совершенно на ее месте справедливо на него никакого внимания не обращает, она же своим занята делом и не обязана в рабочее время обращать внимание на всяких проходимцев.

А он стоит и ждет, что она ему ответит. Не дождавшись, он опять минуты через три ей говорит:

— Девушка, дайте мне, пожалуйста, стихи.

Она спрашивает, не поднимая головы:

— Какие стихи?

— Тютчева, пожалуйста.

Тогда она все-таки вынуждена была благодаря этому типу оторваться от своего непосредственного дела. Она тогда посмотрела на него и задает вопрос:

— Что?

— Тютчева, — продолжает он нахально, хотя на него все уже обратили внимание — а что ему! — И Блока. Стихи. Только заверните, а то на улице дождь, кажется, идет...

— Не хулиганьте, гражданин! — говорит она ему. — А если выпили, так нечего по магазинам ходить, шли бы домой к жене!

А он ей, представьте, опять заявляет:

— Простите...

Тогда она ему отвечает:

— Не грубите здесь, гражданин! Я же вам уже, кажется, сказала, пойдите проспите.

Тут продавщица, разумеется, не выдержала и обратилась ко мне, а я уже почти не могу спокойно наблюдать в стороне эту отвратительную сцену:

— Гражданин, я вас очень прошу, выведите этого хулигана, пожалуйста.

Я, конечно, взял его за шиворот и вывел на улицу.

— Куда вы меня ведете? — спросил он.

— Никуда, — сказал я.

И сдал его милиционеру.



Близкие люди

Если разобраться, то выходит, что все люди — соседи. Вы — мой сосед, а я — ваш.

Одна женщина жила в квартире с соседями. Как-то раз сидит она в своей комнате и вдруг слышит: во входную дверь постучали.

Она открывает — незнакомый мужчина стоит с большим чемоданом, лицом кого-то напоминает.

— Я к вам! — говорит он, улыбаясь. — Здравствуйте!

— Здравствуйте... — говорит соседка. — А вы к кому?

— Моя фамилия — Якушкин. Здравствуйте!

— Якушкин? Ах вы, наверное, к этим... — показала она на дверь рядом со своей. — У них как будто такая же фамилия...

— Да-да, я из Владивостока! Только что приехал.

— А их, Якушкиных-то самих, слава богу, дома нету. Да вообще-то заходите, что ж с вами делать... С ними-то я уж восемнадцать лет не разговариваю... Так вы из Владивостока? Ну, посидите пока у меня. Не на морозе же стоять. Хоть вы и к ним.

И вот разговорились они — люди-то ведь незнакомые. О том о сем, о погоде во Владивостоке, есть ли там что, и так далее. Она было по привычке вдруг начала: «Соседи у меня — лучше бы вы их не знали...» Но потом все же опомнилась и не стала об этом особенно подробно.

И вот они говорят, говорят, все хорошо, а потом вдруг приезжий спрашивает:

— А Юра-то как, поправился, работает уже?

— Какой такой Юра? — спрашивает соседка.

— Как какой? Мой племянник, у вас за стенкой живет.

— А он разве работает?.. Значит, он и в школу уже не ходит, окончил с грехом пополам?

— Да, работает... В телеателье...

— Да что вы? А у меня-то на днях как раз телевизор жужжал, так я сдуру мастера вызывала... Скажи, пожалуйста! Молодец. А этот кто, с усами? Случайно не знаете, кто он такой?

— С усами? Это отец, что ль, его?

— А, он его отец?

— А как же.

— Ну, так что он?

— Что «что»?

— Работает или учится?

— Зачем ему учиться? Он сам доцент. Студентов учит, как зубы лечить.

— Скажи, пожалуйста! Вот видите, — заявляет она приезжему, — соседи-то у меня какие люди! И с каких же пор он их, интересно, учит?..

И представьте, стал он ей все это рассказывать. Якушкины-то ведь нет-нет да черкнут ему письмишко во Владивосток, как родственнику. А вот с ней они соседи.



СОДЕРЖАНИЕ

я ИДУ гуляТЬ. Повесть	7
КОРОЧЕ ГОВОРЯ... Рассказы	57
будем веселыми!	
Ужасная Надька	59
Забывчивый я очень	61
«Надо. Было. Учить»	62
Эхтройкаптитройка!	65
Жестокий рассказ	67
Уметь надо!	68
И я пошел и все увидел	70
Чёт-незачёт!..	73
ты кто!	
Трудно быть белой вороной	77
Ты кто!	78
Можно выйти!	78
...Чил, учил, учил, уч...	81
После русского	82
Судьба-газировка	83
О великих писателях	86
Телефонный разговор	88
А дальше что!	90
Телевизор	91
Женский рассказ	92
Уж такой человек	93

Газон	95
Моя замечательная способность . . .	95
в с е, к а к б ы л о	
Автограф	100
Такая игра	101
Все, как было	103
Свитер из Парижа	107
Знакомство	108
б л и з к и е л ю д и	
Трамвай	113
Почему не летим!	116
Что греха таить...	117
Встреча двух выпускников...	119
Машинка	120
Хулиган	121
Близкие люди	123

Булгаков Н. А.

Б90 Я иду гулять. Повесть и рассказы. М., «Молодая гвардия», 1976.

128 с. с ил. (Компас)

В повести «Я иду гулять» молодой писатель Николай Булгаков с теплотой, юмором рассказывает о том, как много дал ему и его сверстникам их двор, неповторимый, загадочный — целая страна! Человек взрослеет, и мир его становится шире. Сложнее, разнообразнее и решаемые им вопросы: его общественная активность, осознание себя личностью, принципиальность, честность, любовь. Этим вопросам отводится вторая часть книги, состоящая из коротких рассказов. Лирика и юмор пронизывают произведения Н. Булгакова, который адресует свою книгу школьникам, подросткам.

Р2

Б $\frac{70803-149}{078(02)-76}$ 228—76



Scan: Lykas, 2023

Djvu: Babulkin, 2024

Николай Алексеевич Булгаков

Я ИДУ ГУЛЯТЬ

Редактор Г. Быкова

Художник С. Тюнин

Художественный редактор В. Недогонов

Технический редактор Г. Лещинская

Корректоры А. Долидзе, Л. Матасова

Сдано в набор 15/XII 1975 г. Подписано к печати 10/V 1976 г. А07298. Формат 70×108^{1/32}. Бумага № 1. Печ. л. 4 (усл. 5,6). Уч.-изд. л. 4,9. Тираж 100 000 экз. Цена 17 коп. Т. П. 1976 г., № 228. Заказ 2161.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

17 коп.



КОМПАС

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ